

КНИГА ЗА КНИГОЙ



*И. МИКСОН*

# Отзовись!

Библиотека Ладовед.  
SCAN. Юрий Войкин 2014г.

ИЗДАТЕЛЬСТВО  
"ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА"



**ИЛЬЯ МИКСОН**

# **ОТЗОВИСЬ!**

*РАССКАЗЫ*

*Рисунки В. Щеглова*

Москва  
«Детская литература»  
1974

### ДОРОГОЙ ДРУГ!

*Эта книжка о войне, о том времени, когда твой отец, дед, дядя, твой сосед мужественно и стойко сражались за Родину против фашизма, против твоего врага, хотя тебя тогда ещё и на свете не было. Тебе важно и нужно знать героическое прошлое твоей страны, подвиги отца и деда. Знать, как это было.*

*Писатель Илья Львович Миксон сам прошёл дорогу войны и пережил многое из того, о чём рассказывает в своих книгах. Он написал для взрослых десять книг, но и к тебе, юному читателю, обращается не впервые. В нашем издательстве вышли повести Ильи Миксона «Обыкновенный мамонт» и «Семь футов под килем».*

*Напиши нам, понравилась, ли тебе книга. Адрес:  
Москва, ул. Горького, 43. Дом детской книги.*

Миксон И. Л.

M59 Отзовись! Рассказы. Дополненное переиздание.  
Рис. В. Щеглова. М., «Дет. лит.», 1974.

64 с. с ил. («Книга за книгой»).

Рассказы о Великой Отечественной войне, о героизме советских людей. Автор книги, военный инженер и писатель, сам прошёл по трудным дорогам войны.

Часть рассказов впервые выходила в этой же серия в 1966 году.

м 70803-305  
, 8 7 7 4  
, 8 7 7 4

МИМ (03)—74

Иллюстрации с изменениями  
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА», 1974 г.



## ОТЗОВИСЬ!

— «Зея!» «Зея!» Я — «Сура», я — «Сура». Приём.

Тихое, едва слышимое потрескивание, тяжёлый вздох, опять настойчивое:

— «Зея», «Зея»...

Зея... Знакомое имя. Восточное. Зея... Гибкое тело танцовщицы в газовых шароварах. Дымчатый шарф. Танцовщица кружится. Никак нельзя разглядеть её лицо и обнажённые руки. Только волны шарфа, полупрозрачные, как редкий туман. Ритмичные удары барабана отдаются в голове. А туман всё кружится, колыхается.

— «Зея», «Зея!» — устало зовёт простуженный голос.— Я — «Сура», я — «Сура».

Страшная сила рвёт в клочья зыбкий туман. Будто лопаются сверху донизу сотни нитей прочного шва. В разрыве — оранжево-белые всполохи пламени. Многоголосый гул и частая дробь барабана. Непонятные выкрики, топот. Над самой головой захлёбывается автомат. Протяжный вопль,

падение чего-то тяжёлого, гроыхание металла. И тишина, звонкая до боли в висках. Но вот снова размеренное:

— «Зея», «Зея». Я — «Сура», я — «Сура». Приём.

Медленно возвращается сознание. Ощупываю себя. Кажется, цел, но во всём теле тупая, ноющая боль. Пытаюсь вспомнить, что же произошло.

...Мы наступали на Жиллен, разрушенный хутор с единственным уцелевшим домом под островерхой черепичной крышей.

Пологая возвышенность, на которой стоял хутор, судя по топографической карте, господствовала в этом районе. Впрочем, листы карты Восточной Пруссии устарели, обнаружались неведомые дороги и неизвестные населённые пункты. За пять минут до начала артиллерийской подготовки командир дивизиона пришёл к выводу, что мы уже в Жиллене, а дом под островерхой крышей впереди — что-то другое. То, что Жиллен уже в наших руках, радовало. Но знал об этом только наш дивизион, а «катюши» нацелили на Жиллен ракеты. Прямой связи с гвардейцами у нас нет. Радировать в полковые штабы не имело смысла. План артподготовки исходил из армии. Разве туда добраться по эфиру за пять минут до боя!

Нас не накрыли: «катюши» всё-таки «сыграли» по немцам.

Когда изломанную цепочку второй роты отделяла от дома с островерхой крышей сотня метров, я с разведчиком Лариным и радистом Шкелем ушёл вдогонку за наступающими. Из старого наблюдательного пункта корректировать огонь стало невозможно.

Вместо крыши на доме чернел скелет из стропил. Черепица обрушилась, и вокруг дома снег казался пропитанным кровью.

В пустой комнате с голыми проёмами окон сидел на полу пожилой лейтенант в ватном костюме, измазанном глиной и извёсткой. Он звучно высасывал мёд из большого куска пчелиных сотов. В углу девушка в шинели бинтовала голову раненому солдату.

— Ну как? — отдышавшись, спросил я лейтенанта, командира роты.

Покряхтев, он разломил медовую плитку и, протянув мне половину — угощайтесь, пожалуйста, — равнодушно кивнул на окно. Я взялся за бинокль, но в нём не было нужды. В каких-нибудь трёхстах метрах на опушке леса пофыркивали сизыми выхлопами две самоходные пушки с мужским именем «фердинанд». Под их прикрытием залегли немцы.

Шкель возился с радиостанцией: у него что-то не ладилось. Появился куда-то исчезавший Ларин.

— Товарищ старший лейтенант, подвал здесь — чистый дот!

Я отмахнулся и заторопил радиста.

— Питание село, — отозвался Шкель.

Он предупреждал меня ещё вчера; мы наступали восьмые сутки. Как тут напасёшься свежих аккумуляторов!

Ротный тоже не имел связи. Оба телефониста, тянувшие кабель, погибли. Ждали радиста командира батальона.

— Что делать будем? Пэтээры есть? А противотанковые гранаты?

У ротного не было ни противотанковых ружей, ни гранат. Определив на глаз местоположение самоходок, я набросал несколько слов на листке из полевого блокнота и вручил его Ларину:

— Бегом!

Разведчик исчез.

Немцы, чувствуя безнаказанность, продвинулись метров на двадцать, затем ещё на десять. Их гаубичные батареи бьют из-за леса через нас, отсекают второй эшелон.

«Проберётся ли Ларин?»

«Фердинанды», взревев моторами, осторожно поползли вперёд, выставив длинные стволы с лапчатыми набалдашниками дульных тормозов.

— Сейчас начнут, — замечает ротный. — Метко бьют негодяи. У них, говорят, оригинальные прицельные приспособления. Не слышали?

— Стабилизированные, — отвечаю я невнятно: рот забит пахучим воском и мёдом.

Раненный в голову, мучительно заикаясь, жалобно тянет:

— Сестрица, унеси меня отсюда.

— Раненых эвакуировать! — распоряжается ротный. Его измятое бессонницей и окопной жизнью лицо с чёрной в блёстках щетиной на миг становится печальным и серьёзным, но тут же глаза с красноватыми веками загораются любопытством. — Как это — стабилизированные?

— Связь пришла! — кричит кто-то.

Появляется рослый пехотинец с зелёным ящиком рации за спиной.

— Разворачивайся! — коротко приказывает ротный.

— Лучше спуститься ему в подвал,— советую я, наблюдая за «Фердинандами».

Они остановились, выжидая перед последним броском.

Ротный соглашается. Прошу его временно подчинить мне радиостанцию. Шкель передаёт радисту свою табличку с позывными.

— Так что значит — стабилизированные? — допытывается ротный и подаёт мне второй кусок мёда. — Угощайтесь, пожалуйста.

— Стабилизированные — это...

Со свистящим шипением, прерывчатым, булькающим, высоко над нами летят снаряды. «Наши!» Выглядываю в окно. «Фердинанды» возобновили движение. Отчётливо звякают гусеничные траки.

На лесной опушке взлетают кустистые разрывы. Ларин пробрался, но поздно, а коррективы передать некому.

— Товарищ старший лейтенант, «Зея» отвечает! — докладывает в дверях Шкель.

— Прицел меньше четыре! — кричу я в ответ.

— В подвал надо, товарищ старший лейтенант, — виновато дёргает маленькими усиками Шкель. — Это пехотинец настроился.

Пробежав две комнаты, выскакиваю из дому, нахожу глазами чёрную дыру в подземелье. Наклоняюсь над ней.

— Передавайте: «Прицел меньше...»

Грохот и лязг заглушают команды.

— Отставить! Огонь на меня! Огонь на меня!

За спиной гремят пушки, и тотчас чёрное и красное ослепляет меня, упругая волна толкает в бездонное ничто...

Да, теперь я всё вспомнил. Глаза постепенно освоились с мраком. За толстым бетонным столбом виднеются освещенные каменные ступени, в самом низу застыли трое гитлеровцев. На светлом прямоугольном пятне валяются немецкие автоматы.

Незнакомый простуженный голос продолжает вызывать «Зею».

Я не вижу лица радиста, видна только шапка на голове в пульсирующем ореоле сигнальной неоновой лампочки. И матовые блики на кожухе автомата, что лежит у него под рукой.

— Отрезали? — спрашиваю я, с трудом расклеивая губы.

— Очнулись? — веселеет радист и вдруг, схватив автомат, выпускает скупую очередь по ступеням лестницы.

Сверху доносятся выкрики и ответная пальба. Пули высекают искры, брызжут цементными осколками.

— Тут какой-то фон фриц лежит, — объясняет радист. — Всё достать хотят, верёвку с крючком забрасывали. — Он хрипло смеётся. — А я его ещё дальше отташил. Может, они, гады, из-за него и нас не взрывают, а?

— Может... — Разговаривать трудно, в голове продолжает стучать. — Воды нет?

— Нет. Что было, вам спойл.

Пустая фляга с шумом катится в темень. Сразу же сверху гремит автоматная очередь.

— Так нас и взяли! — смеётся радист. Он, видимо, истосковался в одиночестве. — Никак не свяжусь, — говорит он со вздохом. — Первый раз отозвалась ваша «Зея», а потом, как оглохла.

Он начинает покачивать лимб.

— «Зея», «Зея». Я — «Сура», я — «Сура». Приём.

У меня пистолет и две почти полные обоймы, четырнадцать штук.

— Как с боеприпасами?

У радиста не более половины диска к «ППШ», но есть немецкий автомат с пятью магазинами. Кроме того, у входа лежат ещё три таких автомата. Переворачиваюсь на живот и ползу за ними. Радист останавливает:



— Ни к чему. Когда стемнеет...

Разумно. Наладив автомат со стальным рамочным прикладом, слежу за входом. Гитлеровцы, видимо, и в самом деле не хотят подрывать нас из-за трупа «фон фрица», как выразился радист. Осаждающие пока ограничиваются автоматной стрельбой. Экономя патроны, мы отвечаем одиночными выстрелами или короткими очередями.

— «Зея», «Зея». Я — «Сура», я — «Сура». Приём.

Мы заняли дом с островерхой крышей около десяти утра. Сейчас, наверное, часов пять. Поднёс руку с часами к глазам — ничего нельзя разобрать, приложил к уху — тихо: разбились, когда летел в подвал. Отстегнув ремешок, отшвырнул часы в сторону и едва сдержал стон от острой боли в плече.

Нет, не вывих, ушиб. Тогда ничего, обойдётся.

Всё же который час? У радиста часов нет. Были трофейные, штамповка. Поменял на детекторную лампу.

Сейчас около пяти: на пыльном цементном полу рваным прямоугольником лежит розовое февральское солнце.

Нестерпимо мучит жажда. Наелся по глупости мёду. Что стало с лейтенантом? Жив ли Шкель? Так я и не объяснил лейтенанту, в чём сущность стабилизированного орудия...

— Товарищ старший лейтенант, может, есть хотите? — Радист подаёт кусок чёрствого хлеба. — Ещё полбуханки осталось, но экономить надо. Когда ещё придут наши, неизвестно ведь. Верно?

Его хриловатый голос чуть-чуть дрожит. Он понимает, что ни сам он, ни я не можем знать, когда придут наши. Они придут, обязательно придут. Придут, когда возобновится наступление в районе, именуемом на картах «Жиллен».

Приободрить радиста, сказать «скоро»? Нет, не имею права обманывать. И нуждается ли этот храбрый солдат в утешении? Он меня спас, не я его.

— Верно, надо экономить.

— Есть! — весело отзывается радист, восприняв мои слова как приказ и уверенность в победе. ,

Шуршит вещмешок, куда он укладывает остатки хлеба, свой паёк, ставший с этой минуты запасом провианта нашего гарнизона — гарнизона из двух человек.

— Не удаётся? — спрашиваю я, показав глазами на радиацию. Вряд ли радист видит мои глаза, но понятно и так.

— Никак.

И он снова принимается вызывать радиостанцию нашего дивизиона.

Тени на полу сгустились, уже не различается оружие.

Потонули во мраке тела убитых.

Слились ступени.

— Схожу за трофеями, — говорит радист.

Щёлкают тумблеры, гаснет сигнальный глазок.

— Пойду я, — говорю радисту.

Но он возражает:

— Я лучше запомнил, где что. В темноте загремите чем, сразу полоснут. — И, не дожидаясь ответа, он бесшумно крадётся к выходу.

Я отвожу затвор, ствол направлен на лестницу.

Через несколько минут радист возвращается с добычей. Теперь у нас четыре автомата и одиннадцать магазинов с патронами. Да мои пистолетные обоймы. Если немцы по-прежнему будут щадить своего «фон фрица», мы продержимся долго.

Опять заколыхался жёлтый свет неоновой лампочки.

— «Зея», «Зея». Я — «Сура», я — «Сура». Приём.

Пауза, и вновь:

— «Зея», «Зея»!..

Я подползаю поближе к выходу. Немцы могут воспользоваться темнотой и ворваться в подвал.

Взошла луна; рваный прямоугольник на полу стал короче, его голубоватый экран время от времени пересекает тень. В морозном воздухе сухо потрескивают одиночные выстрелы. Сапоги часового скрипят размеренно и громко. Пока нападения можно не опасаться.

— «Зея», «Зея». Я — «Сура», я — «Сура». Приём.

Моё внимание привлекает фосфоресцирующий диск. Протянул руку и наткнулся на окоченевший труп. Это часы на убитом. Снять их? Но к чему? Что могут сказать нам стрелки часов: сколько осталось ждать освобождения? Конца?

Часы показывали десять минут второго.

Раньше утра бой не возобновится: нашим нужно подтя-

нуть резервы, сменить обескровленные батальоны первого эшелона.

Тень замерла посредине голубого экрана:

— Рус, сдавайся!

Автомат, как живой, забился в руках. Наверху проклятия. В подвал ударили трассирующие пули. И снова тихо, только скрип чужих сапог над головой.

— Товарищ старший лейтенант...

Стараясь не шуметь, отползаю за столб.

— Пospите малость, ну их. До зари не сунутся. Да и сторожить буду: может, дозовусь.

Он прав, надо установить дежурство. Снова ползу к выходу. За часами. Теперь они понадобятся. Циферблат светится по-прежнему ярко, зеленоватыми дымчатыми зёрнами. Десять минут второго. Часы стоят. Стаскивать мёртвые часы с мёртвой руки? Нет. Обойдёмся без них.

— Как только захотите спать, будите.

Долго укладываюсь, ишу покойную позу, удобную для ушибленного плеча. В голове всё ещё стоит гул. В горле будто сухой песок.

— «Зея», «Зея», «Зея»...

Зея — река, приток Амура. Амур-батюшка. Амурские волны. Вижу их, огромные, седые, с белыми гребнями пены. Великолепные, мокрые волны!

— «Зея», «Зея»...

Мокрые волны. Мокрые — единственно, что я понимаю сейчас.

Под сводами подвала громом отдаются выстрелы. Сжимаю автомат. Но снова тихо, и я мгновенно проваливаюсь в тяжёлый сон.

Что-то мокрое упало на потрескавшиеся губы. Инстинктивно раскрываю рот и ощущаю воду, настоящую воду!

— Пейте, товарищ старший лейтенант. Нашёл всё-таки. Опять тот «фон фриц» выручил. Термос у него.

Товарищ, брат мой! Если мы выйдем отсюда!..

Заставляю радиста тоже выпить и приказываю отдыхать. Он охотно повинуется, а я стерегу его, пока серое пятно на полу не окрашивается багрянцем.

Мы съедаем по кусочку зачерствелого холодного хлеба,

выпиваем по три глотка воды. Опасаясь мороза, я всю ночь держал термос на груди под телогрейкой.

Немцы пока ничем не выдают себя, но я чувствую — скоро! Я занимаю позицию, а радист выкликает «Зею». Настроение у него бодрое, даже хрипота уменьшилась. Он повторяет одни и те же слова, но каждый раз интонация меняется: голос то сердится, то упраскивает, обижается, заигрывает, зовет:

— «Зея», «Зея». Я — «Сура», я — «Сура». Приём.

Один раз вместо стандартного «приём» он крикнул:

— Отзовись!

Нужно иметь каменное сердце, чтобы не ответить ему!

Всё никак не спрошу радиста, как его зовут. Сейчас это, конечно, пустая формальность. Нас лишь двое; что бы один ни сказал, это касается другого. Больше отвечать некому. «Зея» молчит. Надо хотя бы разглядеть его лицо. Вчера, наверху, запомнились только высокий рост, шинель и зелёная коробка рации за плечами.

Над головой усиливается топот. Что-то затевается. Если бы нам гранаты!

— Рус, сдавайся!

Молчим. Когда на полу появляется тень, даю очередь.

Почему они всё-таки медлят расправиться с нами? Неужели из-за «фон фрица»? Нет, скорее всего, рассчитывают сохранить надёжное укрытие. О лучшем блиндаже и мечтать нельзя. Не успеваю подумать, как на светлое пятно падает круглая банка. Она несколько раз подплясывает, извергая чёрный смолистый дым. Выхватываю её из света и швыряю обратно, но банка снова скатывается вниз. Пытаюсь подтянуть её прикладом. Бьют автоматы. Громокая по ступеням, скатывается вторая дымовая шашка. Светлое пятно исчезает, всё заволакивает дымом. Из глаз текут слёзы, душит кашель..

— «Зея», «Зея». Я — «Сура», я — «Сура». Приём.

Эх, «Зея», «Зея»! Не о помощи молим тебя. «Огонь на нас!» — вот чего мы хотим и требуем.

— «Зея», «Зея»!..

Длинные автоматные очереди. Искры от пуль в чёрном мраке.

— Рус, сдавайся!

Осторожно подкрадываюсь к выходу и, улучив момент, даю очередь вверх. На миг вижу блеск солнца.

Дикий вопль. Ага, попал! Что-то со свистом летит в подвал. Успеваю догадаться — граната. Валюсь на пол и прикрываю руками голову. Яркое пламя кромсает черноту. Эхо умножает гром разрыва. С потолка отваливаются куски цемента.

Протираю запylённые ресницы и открываю глаза. Видны ступени. Взрывная волна вынесла из подвала часть дыма. Дышать не легче: прогорклый запах взрывчатки щекочет горло.

Ты жив, мой товарищ, брат мой? Жив.

— «Зея», «Зея». Я — «Сура», я — «Сура». Приём.

Теперь немцы попытаются спуститься.

Вгоняю в автомат длинный стальной пенал с лакированными патронами.

— Рус!

Ни звука в ответ. На сером пятне тень согнутой фигуры.

Ниже, ниже, ещё ниже, в самый ад! Судорожно вздрогнул автомат, и чёрно-зелёное тело скатывается вниз.

Быстро прячусь за столб.

Одна за другой рвутся гранаты. От едкого дыма взрывчатки нечем дышать. Сейчас я этим гадам устрою!

Радист, наклонившись, как вратарь, становится вблизи рваного края светлого пятна.

Падает граната. Прыжок к выходу, и стальной цилиндр с длинной деревянной ручкой, подобно бумерангу, возвращается наверх.

Взрыв, крики, ругательства.

— Приготовиться, — подаю сигнал радисту.

Повторяется номер с гранатой: смелый, ловкий солдат успевает поймать гранату и выбросить её обратно. Но немцы наверняка догадались, в чём дело, и, если среди них есть хоть один опытный фронтовик, следующую гранату ловить опасно, могут придержать перед броском.

Хочу предупредить своего товарища, но лишь успеваю крикнуть:

— Ложись!

Он бросается за столб, но, кажется, поздно. Сквозь сдерживаемый стон — протяжное: «Га-ады...» Беззловное, удивлённое.

Выпускаю длинную очередь. Теперь можно, всё равно не расстрелять всего боезапаса. Подбираюсь к раненому товарищу, оттааскиваю его дальше в укрытие, туда, где стоит радиостанция:

— Задело?

— Ноги. И спине горячо...

Чем, чем я могу помочь? Ни лоскута бинтов. И что можно сделать в пыльной тьме! Перевязывать на ощупь ещё хуже.

— Вы не беспокойтесь, товарищ старший лейтенант...

— Какой я тебе старший лейтенант! Я брат твой, до конца жизни, всей недожитой жизни моей.

Наверху опять движение, надо приготовиться к встрече. Сюю раненому термос с остатками воды и возвращаюсь на свою позицию.

От грохота заложило уши. Будто издалека доносится:

— «Зея», «Зея». Я — «Сура», я — «Сура». Приём... «Зея», «Зея»...

Взрыв. Град осколков.

— Рус, сдавайся!

Ответная пальба, и всё сначала:

— «Зея», «Зея». Я — «Сура»...

Сура — название реки. Где она протекает, не помню. Голова отяжелела, поташнивает от дыма и лёгкой контузии.

Они опять лезут, и ствол автомата нагревается так, что видна пепельно-бордовая полоска. А может быть, это рябит в глазах от вспышек выстрелов.

Ещё две гранаты. Одна взрывается раньше, и волна отбрасывает вторую в сторону...

Я давно не чувствовал пальцев на правой ноге: застыли от холода. Теперь ноге тепло, от самого бедра до кончиков пальцев. В сапоге мокрая жара.

Оттягиваюсь дальше от входа, ближе к радисту.

Немцы затихли — больше штурмовать не решаются.

Я бы на их месте давно приложил к перекрытию несколько толовых шашек. Очевидно, они это и делают.

Радист уже не зовёт «Зею», он медленно крутит лимб, ищет.

Он снова зовёт её, далёкую «Зею». Потом начинает бредить:

— Я — «Сура»... «Сура»... «Сура»... Взглянуть бы на тебя... Еще разок взглянуть на тебя, Сура...

Осторожно прикасаюсь к его плечу. Нет, он не бредит.

— Я родился на Суре...

И вдруг кричит, громко, восторженно:

— «Зея», «Зея»! Огонь на меня!

Он просит, молит, приказывает:

— Огонь на меня! Огонь на меня! Огонь на меня!

\* \* \*

Нас отправили тогда в разные госпитали, я потерял его. Но он — жив. Я уверен в этом. И мне так нужно найти его! «Сура», «Сура»! Отзовись!





## БЫЧОК

Они возвращались домой. В Москву. Насовсем.

Последняя дорога — просто не верилось! Они так устали от бесконечных скитаний из одной деревни в другую, от избы к избе. За три года исходили, наверное, две области, не меньше. Летом идти весело, если налегке, конечно. Зимой перехватывают дыханием тихие уральские морозы. В воздухе сверкают, переливаясь, ледяные искорки; под настом чудится бездонная пустота: так гулко хрустят шаги. Но зимой легко перевозить на салазках вещи: узелок и тяжёлую швейную машину с облезлым фанерным колпаком.

Они жили то у одних, то у других людей, и мать обшивала хозяев и их соседей. Мать была «кочующим ателье». Родной дом: остался далеко за лесами и реками с грохочущими мостами.

Варе особенно запомнились часовые, охранявшие мосты. В длинных шинелях, с огромными винтовками, в высоких шлемах — будёновках.



Когда Варя с матерью эвакуировалась, все говорили, что немцы уже под самой Москвой, и Варя думала, глядя на часовых: они стоят здесь, чтобы не дать врагу продвинуться дальше на восток и не пропустить на запад своих, потому что люди ведь могли не знать, что там уже оккупанты. И в самом деле, на восток увозили женщин, детей, стариков, а навстречу им мчались лишь теплушки с солдатами и вереницы цистерн.

Теперь, когда Варя с матерью сами ехали на запад в воинском эшелоне (а все поезда, которые двигались на запад, были военными, ибо всё, что они везли: танки, пушки, бензин, продовольствие, одежду, — всё шло фронту), теперь Варя уже не боялась фрицев. Красная Армия отогнала врага почти до самой Восточной Пруссии, и война, как уже всем было известно, должна была вот-вот кончиться. Тогда вернётся папа, а Оля...

С фронта прислали вырезку из газеты с Олиной фотографией и похоронную — «геройски погибла в боях за свободу и независимость Родины».

Потом их вызвали в военкомат и передали орден Славы с потёртой муаровой ленточкой и совсем новый орден Отечественной войны II степени. Матери сделалось плохо, а Варя бросилась к офицеру и стала умолять его отправить её на фронт мстить за сестру. Офицер неловко обнял Варю одной-единственной своей рукой и что-то долго и ласково говорил ей, пока Варя не успокоилась. Но, уходя, она сказала:

— Всё равно уеду на фронт. Сама!

Возможно, она так и поступила бы, но после гибели Оли у матери сердце стало совсем плохое. Мать вдруг сразу состарилась, сгорбилась, под глазами в красных прожилках морщинились тяжёлые отёки. Её никак нельзя было оставлять одну, тем более в чужих краях.

Мать заторопилась домой, в Москву, в свою квартиру, где родилась и выросла Оля и где остались Олины вещи и игрушки. И от Москвы будет совсем недалеко до неизвестной печальной Тихвинки, места Олиной могилы.

Однорукому офицеру из военкомата удалось пристроить Варю и мать к эшелону, направлявшемуся через Москву на Белорусский фронт.

Сопровождающие «скотного эшелона» (вообще-то в эшелоне шли только семь вагонов со скотом) не очень охотно взяли с собой больную женщину и девчонку. Их поместили не в теплушке, где ехали сопровождающие, а в огромном вагоне, пульмане, со скотом, в загородке с тюками спрессованного сена. Они устроили себе гнездо и на ночь прикрывались поверх пальто распотрошённым сеном.

Стоял ноябрь, по утрам всё вокруг серебрилось инеем, и по краям одиноких луж стеклился тонкий ледок.

В вагоне было холодно и сыро, пахло навозом и аммиаком. Днём открывали оконный люк, и всё покрывалось угольной пылью.

На стоянках Варя бегала с жестяным чайником за кипятком. Кипяток и сухари — всё, что у них было. Каждый, раз она ужасно боялась отстать от поезда, но самым страшным было — взбираться обратно в вагон навстречу живой рогатой стене. Мать с трудом отгоняла быков, принимала горячий чайник, и Варя, уцепившись за железную скобу, карабкалась наверх, пролезала под поперечиной и укрывалась в неприступной сенной крепости. Сердце Вари долго ещё колотилось, и всё не хватало воздуха, а блестящие солёными маслинками глаза её никак не могли успокоиться и, вздрагивая, то широко открывались, то закрывались.

На каждой остановке старший сопровождающий команды Егоров, крикливый мужичок, в зелёном ватнике и при нагане в кирзовой кобуре, обходил вагоны. В пульман, где ехали Варя с матерью, он не залезал. Его голова в громадной заячьей шапке виднелась над полом вагона лишь до подбородка.

— Никто не издох? — кричал снизу Егоров, имея в виду, очевидно, рогатых. — Смотрите мне! Фронту везём — не шутки! За каждую голову военный трибунал башку сымет!

И шёл дальше. Однажды, на третий день пути, задержался.

— А самим-то есть чего жрать? Или тоже сеном пробавляетесь? — выкрикнул он и засмеялся, открыв маленькие зубы под низко опущенными дёснами.

Мать стала благодарить Егорова, утверждая, что они все не голодны, дай только бог добраться домой.

На следующей остановке Егоров прислал буханку хлеба и котелок молока. Женщина, принесшая еду, сказала:

— Слышь, мать, ты девчонку свою вечером к пятому пульману посылай. Коровы у нас там.

Но Варя так и не довелось сходить за молоком к пятому пульману. Назавтра поутру она отстала. Случилось это так. Эшелон задержали на разъезде. Варя помогла матери сдвинуть тяжеленную дверь, и в вагон сразу хлынул свежий морозный воздух, навстречу ему повалили редкие клубы пара.

Потом Варя открыла оконный люк и высунула голову.

Было часов восемь утра. Заиндедевские лохматые провода и фарфоровые чашечки на телеграфных столбах отсвечивали розовым, а поле, покрытое щетиной стерни и тоже заиндедевшее, было тускло-голубым. На горизонте синел лес.

— Хорошо как! — воскликнула Варя. Она посмотрела вдоль поезда и увидела Егорова. Варя тотчас отпрянула от окошка.

Егоров подошёл к вагону, ещё откатил дверь и прокричал, как обычно:

— Никто не издох? Смотрите мне! За каждую голову военный трибунал башку сымет!

И пошёл дальше, поминутно поправляя кирзовую кобурку с наганом.

Тут-то и стряслось несчастье.

Рослый бычок, лобастый, ровной рыжей масти, поддел головой поперечину и соскочил на насыпь. Ноги его разъехались, бычок соскользнул в кювет, но сразу же выбрался наверх и спокойнѐхонько побрёл по полю, выискивая среди жѐсткой стерни бледно-зелѐные травинки.

Не успела мать ахнуть, как Варя уже была внизу.

— Верѐвку! — слабым голосом крикнула [Вдгонку мать и бросила через люк ПМОТОК ТОЛСТОЙ верѐвки. — Сейчас...

— Не надо, я сама, — испуганно перебила её Варя и побежала за бычком.

Бычок будто дразнил Варю. Он стоял совершенно неподвижно, следя за ней глазами, но стоило Варя приблизиться на вытянутую руку, как бычок, мотнув головой, отбегал дальше и опять останавливался как вкопанный.

Варя пыталась и настигнуть его прыжком, и верёвкой зацепить, и обойти сзади, чтобы погнать к поезду, однако рыжий бычок оказался куда хитрее и никак не поддавался на её уловки.

Варя чуть не плакала, но не от страха — от обиды и боли: она уже несколько раз падала, наколола руки и на коленях набила ссадины. То, что она рискует отстать, чего она так боялась каждый раз, когда бегала за кипятком, Варя сейчас и на ум не приходило.

Вдруг она услышала:

— Упустили-таки скотину!

Варя обернулась. Егоров бежал к пульману, голося:

— Немедля выкину с ишалону и — в трибунал!

В вырезе двери показалась мать.

— Варенька! — закричала она и опустила на колени, чтобы слезть на землю.

Егоров бросился к Варя, но позади его лязгнули буфера.

— Варенька! Варя! — страшным голосом закричала мать.

Егоров мгновенно повернул назад. Он успел задержать мать и сам вскарабкался в вагон.

Мать билась в руках Егорова. Они что-то кричали, но слов разобрать было нельзя. А тут ещё дым от паровоза к земле прижало, и весь поезд скрылся за серыми и белыми клубами.

Когда дым рассеялся, вдали быстро катились всё дальше и дальше совсем уже маленькие вагончики.

Варя стояла одинокая и несчастная, и слёзы текли и текли по её лицу, оставляя на запорошённых угольной пылью щеках две извилистые дорожки.

Вдруг она ощутила лёгкий толчок. Рядом, виновато понуришь лобастую голову, с едва обозначенными бугорками, стоял рыжий бычок. В сердцах она замахнулась на него, но бычок не сдвинулся с места. Варя, не переставая беззвучно плакать, несколько раз обмотала шею бычка верёвкой, завязала её, второй конец затянула петлей на руке и побрела к полотну железной дороги.

За лесом угадывался по дымящим заводским трубам город, но до него было не так близко, как могло показаться в начале пути. Солнце перевалило за полдень, иней давно

растаял и испарился, когда Варя с бычком, изрядно поплутав среди многочисленных железнодорожных составов на товарной станции, добрались до пассажирского вокзала.

Варя уже не плакала, но светлые дорожки так и остались на щеках. Она с опаской и надеждой всматривалась в пожилых женщин с вещами, которых полным-полно было на перроне. Матери нигде не было. Её, наверное, высадили из эшелона и передали в военный трибунал. Ничего не оставалось, как идти туда же самой с проклятым рыжим бычком, виновником всех бед.

Варя принялась читать все надписи на табличках и указателях, но слов «Военный трибунал» не встретила.

Она толкалась со своим бычком в людской толпе, а вокруг раздавались и смех, и грубые окрики, и едкие шутки.

Её остановил солдат с красной повязкой на рукаве.

— Что за фигура? — спросил он грозно, но вдруг даже обрадовался, хотя и не смягчил строгого тона: — Полунина? Варвара?

— Да, — едва слышно вымолвила Варя, и внутри у неё всё сжалось.

— Следуйте за мной! — приказал солдат и повёл их в конец вокзала.

То, что солдат сказал «следуйте», а не просто «иди», окончательно подтвердило наихудшие подозрения.

Они пришли в большую, давно не белённую комнату. За деревянным барьером сидел, склонившись над столом, офицер в военной фуражке с красным верхом и с красными от бессонной ночи глазами.

— Разрешите доложить? — Солдат вытянулся в струнку. — Она самая и есть, товарищ старший лейтенант. Полунина Варвара. На перроне задержал, со скотиной причём.

Варя стояла ни жива ни мертва, а бычок почему-то стал рваться. Испугался, наверное, тоже.

— Придержи, Яковлев, — бросил старший лейтенант в красной фуражке и заговорил с Варей: — С эшелона сто сорок пять — семнадцать?

— Не знаю...

— Полунина Варвара?

— Да.

— Отстала на сто третьем разъезде?

— Не знаю...

— Не знаешь, что отстала?

— На каком разъезде, не знаю.

— Ясно. Так вот, эшелон твой отправлен в девять шестнадцатый, не держали его, как видишь. Придётся догонять пассажирским. Только что у тебя за товарищ?

— Бычок.

— Вижу, что бычок. А откуда?

Или старший лейтенант притворялся, или он и в самом деле ничего не ведал, но только Варе становилось всё легче и легче, и она даже осмелела:

— Я из-за него отстала. Он из вагона убежал. Сам, честное слово! А Егоров сказал, что высадит нас с мамой и отдаст под военный трибунал.

Из соседней комнаты выглядывали солдаты, пожилые и молодые, как тот, что привёл Варю. Они с любопытством разглядывали высокую девушку — Варю на вид можно было дать сейчас лет пятнадцать, а то и шестнадцать, а не тринадцать, как было на самом деле, — и рыжего бычка на толстой пеньковой верёвке, конец которой стягивал руку с посиневшими пальцами.

— Посиди, — указал старший лейтенант на широкий диван с высокой спинкой, — сейчас что-нибудь придумаем.

Солдаты привязали бычка к батарее, и Варя присела на краешек дивана.

— Глаза видал какие? Ба-архатные! Прямо погладить хочется, — услышала Варя чей-то горячий шёпот и взглянула на бычка.

Глаза у него и впрямь были жалобными и бархатными, и Варя погладила рыжую шерсть на тяжело вздымающемся боку.

— Так вот, Варвара Полунина, — сказал старший лейтенант, оторвавшись наконец от бумаг, — отправим тебя пассажирским, часа через два догонишь своих.

Варя благодарно закивала и стала отвязывать бычка.

— Напарника придётся оставить.

Варя инстинктивно прижала к себе лобастую голову:

— Нет! Нет-нет! Ему на фронт нужно. Егоров сказал...

— Ну что — Егоров? — устало улыбнулся старший лейтенант. — Егоров заявил, что отстала девчонка, Полунина Варвара.

— А бычок? — растерялась Варя. — За каждую голову...

— Знаем, слышали уже, — насупился старший лейтенант и снова погрузился в свои бумаги...

— Ладно, — сказал он погоды, — попробуем товарным, Яковлев!

— Я вас слушаю!

— На шестом порожняк стоит, пристрой. Скажи: дежурный комендант велел. Только поторапливайтесь, сейчас отправляется.

— Есть! — гаркнул Яковлев и бросился в другую комнату. Он сразу возвратился, припрятывая что-то за бортом шинели.

Они бежали втроем: солдат, Варя и рыжий бычок посередке, прыгая через отполированные рельсы, огибая пассажирские и товарные поезда, пока не добрались наконец до состава грузовых платформ и нефтеналивных цистерн.

Из-под зелёного вагона вынырнул человек в железнодорожной форме и в овчинном тулупе нараспашку, в руках он держал небольшой сундучок и фонарь.

— Главный! — уверенно обратился к нему Яковлев и стал объяснять, в чём дело.

— Замёрзнет она, — сказал главный.

— Мне только своих догнать! — дрогнувшим голосом взмолилась Варя. — Маму...

— Серьёзное дело, папаша, — веско подчеркнул Яковлев, — для фронта.

— Разве что на тормозную площадку, — ещё сомневаясь, предложил главный.

— Пошли! — Яковлев, даже не поблагодарив главного, рванул бычка за верёвку.

Лучше тормозной площадки, наверное, ничего нельзя было придумать.

Варя ухватилась за холодные железные поручни и взобралась на первую, самую нижнюю ступеньку. Дальше не пустила верёвка, привязанная к руке.

— Погоди, — сказал главный. — Его раньше надо.

Варя спрыгнула, и они вместе стали подталкивать бычка, задирая его передние ноги на подножку. Бычок, и так тяжёлый, как назло, заупрямился.

— У-у, скотина несознательная! — разозлился Яковлев.

Откуда-то появился солдат с прокуренными усами. Он, видно, бежал всю дорогу, потому что едва выдохнул:

— От товарища... старшего... лейтенанта... — и протянул Варю красивую коробочку, похожую на консервы, но не круглую, а прямоугольную. — Связать... надо, — добавил он, оценивая обстановку.

Бычку спутали ноги — верёвка, к счастью, была длинной — и втащили наверх.

— Закройся! — крикнул снизу главный и заторопился в хвост поезда.

Яковлев показал Варю, как запирать двери. Дальнюю он закрыл сам.

— Ну вот, — вздохнул Яковлев и, вытащив из-за борта шинели горбушку ржаного хлеба с вдавленным в мякиш куском белого рафинада, подал Варю. — Счастливо, Варвара. Меня, между прочим, Яшей зовут. Яков Яковлев. Вот.

— Спасибо вам, Яков Яковлев, — всё ещё дрожа от напряжения, сказала Варя, не зная, что нужно сказать ещё.

Поезд дёрнулся, а Яковлев всё не уходил.

— Отстанете! — испугалась Варя. Она хотела сказать — «уедете», но вышло — «отстанете».

Яковлев, будто очнувшись, махнул рукой. Когда он соскочил, Варя прикрыла дверь с маленьким квадратным окошком и заперла её.

Поезд быстро набрал скорость, и в щели задуло. Бычок, связанный, лежал, вытянув короткую шею. Он тоскливо замычал, глядя на Варю тёмным глазом, с белым, чуть синеватым белком.

— Ешь, — сказала Варя и отломилась бычку половину хлебной пайки. Тут она вспомнила, что и сама не ела с утра. Сахар наполовину подмок и был немного кислым; бычок тоже получил свою долю.

Покончив с хлебом и сахаром, Варя принялась разглядывать диковинные консервы. Прямо на жести была нарисо-



вана розовая колбаса и написаны какие-то слова по-английски. Прочсть она прочла, но перевести не сумела: они ещё не проходили в школе таких слов. К баночке был припаян маленький ключик. Для чего, Варя не поняла, да сейчас она и не хотела уже ничего — только спать. Она свернулась клубочком у самой двери, подняв воротник и втянув в плечи непокрытую голову.

Она проснулась, когда было совсем темно. Кто-то стучал в дверь. Варя со сна не сразу признала главного.

— Не замёрзла? — спросил главный и подал ей две холодные варёные картошки. — К скотине ближе держись, потеплее будет.

Варя поделила картошку на двоих и, всё ещё сонная, улеглась на связанные ноги бычка. Бычок, видимо, ничего не имел против.

Так прошла ночь. На рассвете поезд затормозил на какой-то большой станции. Варя высматривала в окошко и вдруг увидела свои родные пульты и самого Егорова.

Варя хотела окликнуть его, но не знала, как обратиться, и только закричала:

— А-а-а!

Егоров, конечно, не услышал, даже головы не повернул.

Варя, торопясь, открыла дверь, потом снова притворила и стала распутывать бычка. Руки озябли, и толстая верёвка никак не поддавалась. Всё же ей удалось справиться и повязать верёвкой шею бычка. Второй конец, как и прежде, она закрепила на своей руке.

Как только поезд остановился, Варя потащила бычка, но он упёрся копытами — и ни в какую.

— Ну пойдём же, скорее! — почти плача, умоляла Варя, но бычок не мог в этот раз решиться на прыжок. Варя хотела позвать на помощь, но теперь её отделял от своего эшелона товарный состав.

В отчаянии Варя прыгнула вниз, рискуя расшибиться или повиснуть на верёвке. Бычок полетел вслед за ней и чуть не придавил её.

Товарному составу не было видно конца: пока обойдёшь его, и эшелон уйдёт. И Варя полезла под вагон. Бычок сразу ткнулся в какую-то трубу и застрял. Как Варя ни дёргала

за верёвку, как ни понукала, ни звала бычка, ничего не получалось. Она выглянула из-под вагона и прямо перед собой снова увидела Егорова.

— Дяденька! — закричала Варя. — Дяденька Егоров!

Егоров не сразу понял, откуда его зовут, но, увидев Варю, ахнул. Он подбежал к вагону и подал ей руку, голоса, как женщина.

— Ах ты ж дурёха, дурёха! Нешто можно так?

— Ему помогите, — изнемогая, попросила Варя, и Егоров ещё пуще изумился, разглядев за вагоном рыжего бычка.

— Ах ты ж! Да бог с ней, со скотиной! — Егоров не умолкал, не забывая, впрочем, поправлять через каждые три шага свой наган в кирзовой кобуре.

Беглеца водворили в пульман, а Варю Егоров повёл к теплушке, потому что мать со вчерашнего дня ехала там вместе с сопровождающими.

Увидев Варю, мать вскрикнула, схватилась за сердце и потеряла сознание. Варя целовала ей руки, лицо, плакала:

— Мамочка, не надо. Не надо, мамочка. Не надо!

Потом Варя, прижавшись к матери, уплетала картофельные пирожки, прихлёбывая из котелка тёплое пенистое молоко. А Егоров всё ещё никак не мог успокоиться:

— Да бог бы с ней, со скотиной! Нешто можно так? ДурЗха ты, дурёха! Всех нас до смерти всполошила и мать вон до чего довела. Чего ж ты жрала-то?

— Хлеб, — с трудом ответила Варя. Она проглотила остатки пирожка, блеснув солёными маслинками глаз, и добавила: — Картошку...

Тут она вспомнила о диковинной банке с красивой картинкой и вытащила её из кармана:

— А у меня ещё вот что есть!





## САПЁР

Время было раннее, шёл дождь, и в летнем павильоне станционного буфета посетители занимали только три столика. За одним из них сидел мужчина лет сорока. Он сидел наклонившись, лишь изредка бросая взгляд на море. Оно простиралось рядом, за полотном железной дороги. На фоне вспененного моря резко белела скамья с прилипшей к сиденью газетой.

Подле мужчины сидела овчарка, рыжая, с белыми пятнами на груди и лапах; треугольники ушей обвисли, как лацканы старого пиджака. Крупная голова овчарки прижималась к коленям хозяина, и вся овчарка была устремлена к нему, явно истосковавшаяся по ласке. При каждом прикосновении жилистой, покрытой светлым пушком руки овчарка подавалась вперёд, стараясь продлить приятное мгновение, и хвост её от удовольствия плавно стелился по полу из стороны в сторону.

Шерсть на боках овчарки свалялась, на спине лоснились тёмные мокрые пятна. Кожаный потрескавшийся ошейник вытер и примял широким кольцом светлый ворс.

Мужчина поднял голову. В глазах, тёмных, редких для веснушчатого лица, светилась нежность. Рука продолжала мягко поглаживать шерсть на загривке овчарки, и я расслышал несколько раз тихо произнесённое слово: «Сапёр».

Подошёл официант. Поставил передо мной бутылку пива. Мужчине принесли рюмку водки, бутерброд с кетовой икрой и глубокую тарелку с мясным блюдом.

— Вообще-то не полагается, — вполголоса сказал официант, но в тоне его не было ни упрёка, ни недовольства. Он выговаривал просто так, для формы. — Да и ни к чему, Виктор Иванович, — добавил официант, наклонив седую голову. — Балуете вы его.

— Воскресенье, — отозвался мужчина. — Выходной день.

Белая молния полоснула изломанной стрелой и мертвенной вспышкой выбелила всё вокруг. Овчарка теснее прижалась к хозяину. Раскатистой канонадой обрушился гром.

— За посуду уплачу, — сказал мужчина.

Официант ничего не ответил и шаркающей походкой удалился к буфетной стойке.

Мужчина поставил на пол тарелку с мясом и сказал:

— Кушай, Сапёр!

Это прозвучало не приказом, не разрешением, а просьбой. Еда была угощением.

Овчарка, благодарно взглянув на хозяина, принялась нб спеша есть. Хозяин, подперев щёку, смотрел на овчарку. Морщины на его крутом, обожжённом загаром лбу разгладились и белели, как шрамы.

Время от времени овчарка отрывалась от еды и поглядывала вверх, как-то странно наклоняя голову набок.

— Кушай, Сапёр, кушай, — приговаривал хозяин. Сам он не притронулся ни к чему и только курил.

Дождь затих так же внезапно, как и начался, серая бахрома его быстро отступала в море. Снова блеснула молния, но уже далеко, и звуки грома долетели отголоском дальних взрывов. Грозовая туча уходила всё дальше и, уплотняясь, будто упершись в горизонт, густой фиолетовой массой залегла вдали.

Мужчина разломил бутерброд, меньшую часть съел сам, а большую протянул на ладони овчарке.

— Кушай, Сапёр, кушай.

Приблизился официант, издали наблюдавший всю сцену, и молча положил на стол счёт. Мужчина подал деньги и направился, заметно прихрамывая, к выходу. Овчарка последовала за ним. Она была рослой, почти по пояс хозяину, с могучими, крепкими лапами и большой красивой головой. Правый глаз её был закрыт. Мужчина с овчаркой свернули за угол и скрылись из виду.

Что-то необычное было в этой странной паре.

— Откуда у собаки такое имя — «Сапёр»? — заговорил я с официантом. Судя по всему, он знал многое о мужчине с овчаркой.

Глаза пожилого, немало повидавшего человека внимательно посмотрели на меня.

— Вы не ослышались. Сапёром зовут.

Это всё, что он сказал мне. Тогда.

Через несколько дней я покидал станцию Залив. Обычно на запад отсюда уезжали через Владивосток, но я решил садиться в Заливе, на проходящий.

На станцию я пришёл загодя и спустился к морю. Там на одинокой скамье я и встретился вновь с пожилым официантом Ефимом Михайловичем Аплачкиным.

Низко над морем ярко блестела Венера. Мерцающее дымчатое отражение её пересекало гладь залива, как дорога. Аплачкин смотрел на эту звёздную дорогу, когда я присел рядом и поздоровался. Не поворачивая головы, он молча кивнул в ответ. От папиросы отказался, а когда я прикуривал, взглянул на меня и узнал.

— Это вы тогда о собаке спрашивали? Сапёром зовут, Сапёром, — сказал он, будто продолжая только что прерванный разговор. — А хозяина её — Чемерисом, Виктором Ивановичем Чемерисом. Из военного санатория он.

Виктор Иванович Чемерис работал в санатории начальником квартироэксплуатационного отделения. Должность соответствовала его профессии. Чемерис окончил строительный техникум, в войну был сапёром. На фронте Чемерис и повстречал рыясу овчарку. ^ Впрочем, сперва она была гряз-

ным рыжим кутёнком, отбившимся от матери и хозяев. Солдаты сапёрной роты нашли его в развалинах дома в Сталинграде. Щенка отнесли в овраг, к кухне, накормили, приласкали, и он так и прижился в роте.

Долгое время солдаты называли щенка как кому вздумается. Безымянный пёс, слышав перезвон котелков, стремглав бросался к кухне, усаживался в сторонке и терпеливо ждал, пока растает весёлая очередь и повар вывалит на какую-нибудь дощечку или просто в снег добрую порцию пшённой каши с мясными консервами.

Однажды в обеденный час пришёл командир взвода лейтенант Чемерис, высокий, плечистый, с рыжеватым чубом, выпиравшим из-под серой ушанки. Ремень со звёздной латунной пряжкой перетягивал зелёный ватный костюм, сбoku плотно прилегал пистолет в коричневой кобуре.

— А этого сапёра почему не кормят? — весело спросил Чемерис.

Все рассмеялись и принялись наперебой звать пушистого щенка: «Сапёр, давай в очередь», «Тащи котелок, Сапёр!»

— Где его посудина? — обратился Чемерис к повару. Аплачкин развёл руками:

— Не^в. Да и не полагается, не полагается возить при кухне собачью миску.

— Не полагается? Ну что ж, сам буду носить, — сказал Чемерис и поставил перед чёрным влажным носом овчарки свой круглый котелок. — Кушай, Сапёр!

С той поры за собакой и закрепилась кличка «Сапёр», а лейтенант Чемерис стал её признанным хозяином.

Сапёр ходил за Чемерисом повсюду, спал в его землянке и вместо ординарца выполнял мелкие поручения: подавал сапоги, которые Чемерис по укоренившейся привычке сбрасывал в разные стороны, носил газеты, а потом и письма. Стоило в расположении роты появиться почтальону, как Сапёр низкой, стелющейся рысью бросался к нему навстречу и, нетерпеливо поводя вытянутой мордой, ждал письма для своего хозяина. Почтальон, требовавший от счастливых адресатов: «А ну, дайно кусочек самодеятельности!» — заставлял и Сапёра отрывать от земли передние лапы, когда на имя лейтенанта Чемериса приходило письмо.

Чемерис уже командовал ротой, когда Сапёр стал всё реже и реже приносить белые конверты. Что уж там случилось в тылу — неизвестно, но переписка и вовсе оборвалась. Напрасно огромная рыжая овчарка с белыми пятнами на груди и лапах вытягивала своё сухое мускулистое тело, просяще и тоскливо заглядывая в лицо почтальону.

— Нэма капитану, Сапёр, нэма ничего, — печально говорил почтальон.

И Сапёр, опустив пушистый, чуть изогнутый хвост, возвращался ни с чем и молча укладывался у ног хозяина.

— Забыли нас, Сапёр, а? — спрашивал Чемерис и, размеренно поглаживая крупную голову овчарки, приговаривал: — Ничего, Сапёр, будет и на нашей улице праздник.

Но, видимо, капитан Чемерис и сам не верил в свои слова.

И всё же праздник наступил, но лишь для Сапёра. Это произошло зимой, в феврале, в районе Витебска. Рота Чемериса восстанавливала повреждённое артиллерийским обстрелом минное поле перед нашим передним краем. Дивизия занимала оборону в небольшом районе, прозванном солдатами чёртовым мешком. День и ночь среди голых, изрытых окопами высот и в топкой низине с поредевшей, иссечённой и изрубленной рощицей рвались снаряды и тяжёлые мины.

Капитан Чемерис с солдатами работал на нейтральной полосе. Сапёр, по обыкновению, ожидал своего хозяина в первой траншее, примостившись рядом с наблюдателем, солдатом Расторгуевым. (Расторгуев страдал ревматизмом и не мог ходить на задания.)

В четыре часа утра пришёл повар ефрейтор Аплачкин. Он и в окопе держал себя, как некогда у раскалённой плиты, — откинув назад поднятую голову. Аплачкин сбросил с плеч термос с горячим чаем и, тяжело отдуваясь, стал свёртывать цигарку.

— Почта так и не приходила? — спросил Расторгуев.

— Принёс, — ответил, придыхая, Аплачкин и достал из-за пазухи тощую пачку конвертов.

Овчарка подняла голову и уставилась на Аплачкина.

— Есть, — успокоил тот. — И капитану нашему, Чемерису, есть.

Услышав знакомое имя, Сапёр нетерпеливо толкнул носом в грудь сидевшего на корточках Аплачкина. Тот опрокинулся на спину.

— Обалдел, что ли? — разозлился Аплачкин.

Но Сапёр продолжал наступать молча, без единого звука, только обнажив острые клыки. Хвост поднялся и загнулся кверху.

— Будь ты неладен... — выругался Аплачкин и, перебрав пачку, протянул письмо.

Сапёр мягко схватил конверт и лёгким прыжком вскочил на бруствер.

— Куда?!—опомнился Аплачкин, но Сапёр уже исчез в темноте.

— Эх, Ефим Михайлович, — в сердцах сказал Расторгуев, — загубили вы Сапёра, подорвётся он. Мин тут, наших и германских, как пшена в вашем рататуте.

Но Сапёр, продвигаясь по следу хозяина, благополучно миновал все опасности. Там, где след превращался в сплошную борозду, Сапёр прижимался и полз.

Чемериса неожиданно ударили по ноге, и он оглянулся. Позади темнела огромная голова с острыми ушами. Два мерцающих глаза и что-то белое, плоское. Чемерис сразу понял, в чём дело, и, притянув к себе голову овчарки, шепнул:

— Дай.

Чемерис на ощупь убедился, что в руках у него толстое письмо, и спрятал его через отворот полушубка в гимнастёрку. «Дорогой ты мой Сапёр! — ласково подумал Чемерис. — Спасибо тебе». И жестом приказал: «Назад, место!»

— Ползёт кто-то, — предупредил Расторгуев.

Аплачкин встал рядом и тоже всмотрелся в темень. Наконец и он разглядел что-то чёрное, быстро выроставшее на светлом снежном настиле. Вот вспыхнули и снова погасли два огонька. «Сапёр!» — облегчённо вздохнули оба солдата. Через минуту Сапёр сидел рядом, высунув трепещущий язык.

— Вот сукин сын! — беззлобно выругал Сапёра Аплачкин и погладил жёсткую шерсть на холке.

Овчарка, чувствуя недавнюю вину, разрешила приласкать себя, затем улеглась и зажмурила глаза.



Прошло с полчаса, когда Сапёр вдруг встрепенулся и завилял хвостом.

— Наши идут, — уверенно сказал Расторгуев.

...Самодельная жестяная кружка из консервной банки давно перестала дымиться в ногах капитана Чемериса, а он, привалившись к мёрзлой глине окопа, прикрыв полый измазанного полушубка жёлтый свет фонарика, всё читал и перечитывал длинное, самое длинное за всю войну письмо.

Сапёр преданно и довольно следил за хозяином, ожидая заслуженной благодарности. Он несколько раз тронул лапой сапог, пока Чемерис не обратил на него внимание.

— Хорошо, Сапёр. Хорошо... — И Чемерис погладил массивную голову Сапёра.

...Оттаяли мёрзлые комки на брустверах траншей, отшумели под солдатскими сапогами весенние потоки, высохли раздавленные гусеницами и колёсами фронтовые дороги. Остались позади белорусские леса и болота, отпылили литовские тракты. И снова наступила зима, но уже прусская: тёплая и мокрая. Гитлеровцы держались за свои фамильные фольварки, остроконечные кирхи и охотничьи уголья. Они опоясались многокольными рядами колючей проволоки и густо засеянными минными полями.

Рота капитана Чемериса получила приказ сделать несколько проходов во всю глубину нейтральной полосы — от своих траншей к немецким.

За час до полуночи сапёры один за другим перевалились через бруствер и бесшумно поползли вперёд. Ушёл с ними и Чемерис. Сапёр остался в траншее, чутко прислушиваясь к фронтовой ночи.

То и дело взлетали ракеты, проплывали изогнутые трассы разноцветных угольков пулёмётных очередей, выли и с треском лопались мины. Сапёр лежал спокойно, лишь жмурил глаза при каждой вспышке осветительных ракет-фонарей. Покачиваясь на тонких стропах парашютиков, они опускались вниз, искрящиеся, ослепительно белые, волоча за собой редкие голубоватые хвосты дыма.

Вдруг ракеты стали взлетать чаще, в небе сразу повисло десятка два ярких фонарей. Сотрясая воздух, гулко забили

крупнокалиберные пулемёты, рванулись автоматные очереди. Натужный вой мин слился с жаханьем и грохотом разрывов.

— Накрыли, — прошептал Расторгуев. — Эх, напасть какая!

Последние слова он прокричал, таиться уже не было смысла: для прикрытия сапёров ударили наши орудия.

Овчарка заволновалась, будто почуяв беду.

В разных местах в траншею скатывались солдаты, перевея дух, отчаянно ругались и, роняя зёрна махорки, свёртывали огромные сигарки.

Осторожно на руки товарищей спустили раненых. Когда собрались почти все, кто-то спросил:

— А капитан где?

Чемериса не было, не возвратились с ним ещё четверо.

Трое солдат, не сговариваясь, аккуратно пригасили самокрутки и уползли на помощь. Один из них не вернулся, двое, помогая друг другу, в изорванных, вспоротых осколками полушубках, дотянулись до окопов, но перевалить через бруствер уже не смогли: не хватило сил.

— Эх, напасть какая! — сокрушённо повторил Расторгуев и, кряхтя, полез наверх.

Когда прошло полчаса, все поняли, что ждать Расторгуева нечего.

— Придётся пересидеть, — тихо произнёс сержант.

Постепенно пальба затихла; всё реже вспыхивали ракеты. Новая спасательная группа изготовилась к вылазке, когда слышались странные звуки, будто волоком тащили нелёгкий груз.

— Сапёр!

Сапёр всё ближе подтаскивал грузное тело капитана Чемериса, уцепившись за ворот его телогрейки. Солдаты бросились на подмогу. Чемериса уложили на дне окопа.

— «Сюрприз», — прошептал кто-то.

Все тотчас взглянули на ноги капитана. Правая вместе с сапогом была срезана у щиколотки противопехотной миной с праздничным названием: «Сюрприз».

Чемерис, не открывая глаз, сдавленным голосом позвал:

— Сапёр.

Лишь теперь все обратили внимание на исчезновение овчарки.

— Сапёр, — скова позвал Чемерис. Лицо его, серое, в копоты, выражало странное спокойствие.

— Придёт сейчас, — отвлекая, сказал фельдшер, осматривавший капитана.

Затылок раненого был в липких сгустках. Фельдшер озаченно нахмурился. Санитар подал тампон, и фельдшер осторожно, поглядывая в лицо Чемериса, стал отирать кровь. Солдаты напряжённо следили за рукой фельдшера. Вдруг губы его дрогнули, и он облегчённо вздохнул: то была чужая кровь.

— Шапку, — бросил фельдшер.

К нему сразу протянулось несколько рук с ушанками, но фельдшер надел на Чемериса свою шапку, будто командовал лично себе. После этого фельдшер принялся обрабатывать искалеченную ногу. Голенище он разрезал и отбросил в сторону, прямо к ногам черноусого сержанта. Тот отодвинулся, чтобы ненароком не наступить, будто это была не кирза, а человеческая кожа.

— Сапёр, — опять позвал Чемерис и открыл глаза.

И, словно лишь сейчас услышав зов, сверху обрушилось гибкое могучее тело овчарки. Она раздвинула столпившихся солдат и уселась рядом с Чемерисом. И все одновременно увидели в крепких челюстях кирзовый опорок с застывшим в нём оранжево-красным месивом. Сапёр принёс это, как обычно приносил хозяину его сапоги.

Никто не решился скомандовать: «Дай!» На это имел право только капитан Чемерис, хотя то, что принёс Санёр, уже не принадлежало ему.

— Дай, — без всякого выражения произнёс Чемерис.

Опорок мягко упал на землю.

— Перевяжите его, — тихо потребовал Чемерис.

На месте правого глаза Сапёра чернела запёкшаяся рана. Закончив бинтовать ногу, фельдшер сказал санитару:

— Носилки.

— Перевяжите его, — твёрдо повторил Чемерис, он уже не закрывал глаза и не жмурил их. Боль замерла, чтобы потом, позднее, терзать ослабевшее тело.

Фельдшер взглянул на Чемериса и молча стал обследовать овчарку. Она вдруг сделалась послушной, как тяжело больной ребёнок, и тихо заскулила.

Двое солдат подняли носилки с раненым и двинулись по узкому извилистому проходу. Сапёр непривычно наклонил еабинтованную голову и неотступно шёл за ними. Никто не пытался удержать его.

Когда уже в медсанбате капитана Чемериса вносили в санитарную машину, врач в белом халате с туго закатанными по локти рукавами притопнул ногой:

— Пшёл вон!

Но Сапёр, не обратив на это никакого внимания, впрыгнул в кузов «санитарки» и уселся рядом с носилками. Его пытались выгнать, но ошетилившаяся огромная овчарка с забинтованным глазом выглядела столь грозно, что дотронуться до неё было страшно, а крики не оказывали никакого воздействия.

— Принесите-ка палку! — распорядился врач.

Но в это время раздался предостерегающий крик:

— Воздух!

В небе угрожающе заныли «хейнкели».

— Ну вас! — нетерпеливо засуетился шофёр. — Едем или нет?

Врач, сдавшись, махнул рукой:

— Чёрт с ней, в госпитале отделаются.

Но в госпитале от Сапёра не отделались.

Чемерис, очнувшись после операции от наркоза, позвал овчарку. Он не успокоился, пока её не впустили к нему. Сапёра предварительно искупали и сменили повязку. Он терпеливо вынес процедуры, инстинктивно чувствуя, что иначе его не допустят к хозяину.

Так они и лечились вместе в одном госпитале, капитан Чемерис и овчарка Сапёр.

Сапёр поправился после ранения быстро, но долго не мог привыкнуть смотреть на мир только одним глазом. Постепенно он освоился со своим положением и с новыми, отличными от фронтовой жизни условиями. Сапёр стал заметно общительнее и добрее, особенно к людям в белых халатах, но навсегда сохранил неприязнь к закатанным рука-

вам. Его все любили в госпитале, баловали лакомыми сочками, играли с ним. Сапёр возился с удовольствием, но ни за что не выполнял команды: «Взять!» Однажды у него на виду бросили колбасу: «Сапёр, взять!» Но Сапёр улёгся на траву, положил голову между вытянутых лап и тихонько, тоскливо завыл, вспомнив что-то далёкое-далёкое...

Из госпиталя Чемерис выписался спустя два месяца после войны. Он долго не мог решить, куда ехать, а тут подошло письмо от бывшего ротного кашевара Ефима Михайловича Аплачкина. Он демобилизовался и вернулся к себе на маленькую станцию неподалёку от Владивостока.

— ...Я в ту пору демобилизовался уже, подчистую ушёл. — Мой собеседник сожалеюще вздохнул. — Домик у меня тут. Вдвоём с женой, одни мы. Сынок в Силезии навечно полёг. Не приходилось в тех краях бывать?.. И мне вот тоже... Простите, величать вас как по имени и отчеству?

Я назвался, но Аплачкин, как и прежде, обращался ко мне безлично.

— Ну вот. Уговорил я капитана. Выдали ему документы до станции Залив, Приморской железной дороги. И на Сапёра выдали. От сопровождающей сестры капитан отказался, а за счёт этого, значит, выпросил литер на «служебную собаку-санитара породы восточноевропейская овчарка, по кличке «Сапёр». Сперва у меня жили, потом капитан свою квартиру получил.

Из-за каменистого мыса нарастал шум поезда. Пора было собираться.

— И поныне живут они вместе, капитан с Сапёром?

— А кто ж их разлучит?





### «РАЗЛУКА»

В долгу я перед ним: так и не представил тогда, на фронте, к награде, сам угодил в госпиталь. А сейчас что стоит бумага, подписанная офицером запаса? Да и не восстановить всего по порядку. Столько лет прошло...

Ночью автострада выглядела зимней рекой с чёрными полыньями воронок. Вдоль берегов торчали деревья с короткими бугристыми стволами и голыми растопыренными ветками. Деревья были похожи на старые, истрёпанные метлы, воткнутые черенками в снег. Тёмные громады танков с вытянутыми хоботами орудий и распластанной чешуёй гусеничных траков будто окаменели, коснувшись мёртвой воды.

Мёртвая река с метлами и окаменевшими чудовищами, казалось, вела в логово злой силы.

Мы застряли у этой проклятой дороги на Берлин. Нейтральная бетонная полоса преградила путь. Танкисты дорого заплатили за дерзкую попытку взять автостраду с ходу. Как только машины начинали взбираться на высокое полотно, в тонкое днище вонзались огненные стрелы бронебойно-трассирующих, и стальная махина вспыхивала как спичечный коробок.

Передевший танкосамоходный полк перебросили на север форсировать выход к морю. Успешно развивалось наступление на левом фланге, а мы, горстка артиллеристов и потрёпанная в боях пехота, третьи сутки топтались на месте.

Всё опротивело, надоело. Не было желания и окопаться по-настоящему: думали — вот-вот опять «вперёд на Запад!».

В тесной норе землянки стояла мертвящая тишина. Чада, бесшумно горел портяночный фитиль в сплюснутой гильзе. Дежурный телефонист прижимал к уху безмолвную трубку. Артиллерист без связи, да ещё на передовом наблюдательном пункте, — пустой созерцатель. Что толку слушать урчание моторов по ту сторону автострады? Кто узнает о новых разведанных целях?

— Скоро там связь?

— Молчком пока, — вздохнул телефонист и для доказательства подул в микрофон.

Через минуту терпение опять лопнуло.

— Уснул он там?!

Знал, что напраслину возвожу на солдата. Прошло пять минут, как он отправился в грохочущую взрывами, изорванную ракетами ночь. Но не было сил сдержаться.

Телефонист близко наклонился над фитилём. Жёлтое неровное пламя то приседает, то вскакивает куриным гребешком. Задымив сигаркой, телефонист уселся на прежнее место. Он сосредоточенно обдал микрофон сизым облачком, сдул его и тихим, спокойным голосом, словно обращаясь к соседу, стал вызывать промежуточную станцию. Промежуток не отвечал, и телефонист тем же голосом спрашивал того, кто искал порыв:

— Разлука, а Разлука?..

Короткая пауза.

— Молчком пока.

По ту сторону зарычали танки. Сверху посыпалась земля.  
— Будет когда-нибудь связь с огневыми позициями?!

Телефонист жестом остановил меня и плотнее прижал к уху трубку.

— «Лена» слушает! Ты, Разлука?.. Ага! Сейчас. — Он завертел ручку аппарата, поговорил с промежуточной станцией, с огневыми позициями, затем опять с Разлукой. — Порядок! Давай назад... Ладно, потом расскажешь... Связь есть, товарищ гвардии капитан!

Последнее относилось ко мне. Телефонист, запрокинув голову, ждал распоряжений.

— «Девятого», Есипов! — сказал я телефонисту нетерпеливо, но мирно.

Доложил начальнику штаба дивизиона, «Девятому», обстановку, попросил разрешения открыть огонь. «Девятый» не дал ни одного снаряда: «Прибереги на завтра, вдруг не подвезут?»

Вот они, прелести обороны! Снарядов и тех для нас жалко. Приказал разведчикам усилить наблюдение. Больше ничего и не осталось, как слушать немецкие моторы, глядеть и помалкивать.

Поднял воротник шинели, чтоб земля за шиворот не набивалась. Убожество, а не блиндаж!

Где-то близко в тылу разорвался снаряд, калибра этак 120—150. Камуфлированная плащ-палатка, которой занавешен вход, выпятилась парусом; пламя копилки наполовину погасло, но огонь снова охватил толстый фитиль.

Опять заколыхался свет. Возвратился Разлука. Не спеша закрепил полог. Шинель на спине распорота острым лезвием осколка на целую пядь.

— Прибыл, — сообщил Разлука. Что повреждение устранено, ясно и так.

— Много кабеля попортило? — поинтересовался Есипов.

— В двадцати семи местах перебило, — моргнув светлыми выпуклыми глазами, ответил Разлука.

— Где же ты столько нового провода раздобыл?

В голосе Есипова подозрительная недоверчивость.

— Пехота одолжила, — равнодушно сказал Разлука. — Склад у них, двести катушек.



Есипов понимающе хихикнул.

— Не зацепило? — на всякий случай я осторожно прикоснулся к шинели над лопаткой.

Разлука, извернувшись, нашупал дыру. Видно по глазам, что он не знал о её существовании.

— Ах, это? — беспечно протянул Разлука. — Пятисотка рядом ухнула, товарищ гвардии капитан. Стабилизатором задело.

Двадцать семь порывов, ни больше ни меньше; пехотный склад на двести катушек; бомба в пятьсот килограммов. Поразительная точность и ни грамма достоверности!

— Не слышать что-то самолётов было, — усмехнулся Есипов.

— С большой высоты бомбили, — ничуть не смутился Разлука. — С четырёх тысяч.

Теперь ещё и вымеренная высота!

— Чем же ты высоту определял? Линеечку на складе выпросил?

Разлука с сожалением покачал головой:

— Жаль мне твоих деток, дубок милый.

— Это почему?

— Фантазии у папы с воробьиный нос. «Лине-ечку»!..

— Трепач ты, Разлука. — Есипов облегчённо вздохнул и полез за кisetом. — Подымим, а?

— Как угодно. — Разлука косо передёрнул плечами и, всерьёз обидевшись, смолк. Он сбросил шинель и принялся чинить её, больше не говоря ни слова.

Я следил за Разлукой. Когда он увлечён каким-нибудь занятием, лицо у него задумчивое, в светлых выпуклых глазах тихая грустинка.

С первым весенним солнцем нос и запалые щёки Разлуки покрываются мелкими-мелкими веснушками. Сейчас он ещё только начинает рыжеть: значит, скоро быть настоящей теплу.

Шов готов. Разлука перекусил стальными зубами суровую нитку. У него все передние зубы стальные, верхние и нижние. В Сталинграде в рукопашной прикладом выбили. Концы проводов Разлука всегда зачищает зубами: фирменные кусачки.

Разлука исследовал шинель, обнаружил ещё две прорехи, поменьше.

Наверху становилось тише, и моторы за автострадой заглохли.

Есипова нудила тишина. Он запрашивал линию чаще, чем была в том нужда, поглядывал на Разлуку. Тот — ноль внимания, целиком ушёл в работу.

— Подымим, а, Разлука?

— Занят. Сам сверни, — назначил откуп за оскорбление Разлука. Есипов и впрямь ловко крутил сигарки: раз-раз — и готово.

Мир восстановился.

— Расскажи чего-нибудь, а, Разлука? — Есипов настроился слушать очередную историю, полную небылиц и нарочитого вранья.

Молчание для Разлуки — состояние противоестественное, но сейчас, видно, он был настроен на другое. Сбив щепкой нагар с коптилки, Разлука некоторое время внимательно изучал перекрытие. Оно из крышек от снарядных ящиков. При взрывах сквозь щели просыпалась земля.

— Шалаш сиротский, а не блиндаж, — сделал вывод Разлука.

Настроение Есипова омрачилось. Чего доброго, я прикажу переделать землянку или отрыть новую.

— Тесно ему, — буркнул Есипов. — Дворец ему на сутки воздвигни.

— Дворец нам ни к чему, а блиндаж человеческий не помешает, — сказал Разлука серьёзно. — Помните, товарищ гвардии капитан, какой блиндажик мы отгрохали в Новый год?

«Мы отгрохали»...

— Помню.

• \* \*

В канун Нового года мы устроились в кирпичном двухэтажном особняке прусского фольварка. Нам досталась комната, где прежде была детская.

Никогда в жизни не видел я столько красивых игрушек.

Золотогривый скакун на качалке, заводные лакированные автомобильчики, звери из папье-маше и гуттаперчи, радужно яркие кубики, автоматический вальтер с пистонной лентой, настоящие фарфоровые сервизы и мебельные гарнитуры из дворца короля Лилипутии; карета, запряжённая шестёркой, с форейторами на запятках. А куклы! Великосветские дамы в роскошных одеждах, девчонки в коротких платьицах, пухлые младенцы в конвертах.

Мы набросились на это разнообразное великолепиие, как дети в счастливые именины. Откладывали одну игрушку, чтобы тут же взять другую. Запищало, замаякало, загудело. По полу забегали автомобильчики, промчалась карета, смешно задрывали ногами лошадки.

В громадной ручище разведчика Гомозова затрещал автоматический вальтер. Расстреляв всю ленту с пистонами, Гомозов бросил пистолетик на пол, наступил на него и зафутболил в дальний угол. Потом он взялся за лимузин и стал заводить ключиком пружину. Делал он это с чрезвычайной осторожностью и всё-таки не рассчитал свою богатырскую силу. Раздался треск, и Гомозов растерянно и виновато оглянулся на товарищей.

Все вдруг умолкли и бережно отложили игрушки. Только Разлука не выпустил из рук маленького пупса. К распашонке прилип обсосанный леденец, и Разлука сосредоточенно отдирает его, стараясь не повредить ворсистую розовую фланель.

Красный грузовичок уткнулся в распахнутую дверцу шкафа и замер. Разлука, не вставая, поднял грузовичок, дал колёсам открутиться и поставил его на полку. И все, как по сигналу, стали собирать игрушки и складывать их на место, притихшие и суровые.

Повинуясь указаниям Разлуки, Гомозов развернул громадный шкаф и придвинул его стеклянными дверцами к стене.

— Так спокойнее, — сказал Разлука. — Со стеклом шутки плохи.

— Дети, они ни при чём, — вытирая со лба крупные капли пота, законфузившись, добавил Гомозов.

Разлука с Есиповым приволокли откуда-то диван в фор-

ме растянутой лиры и оленьи рога на дощечке. На рога повесили автоматы. Диван достался мне.

...Пока я спал, в комнате появилась трёхстворчатая шёлковая ширма; за ней на кровати отдыхал Разлука.

Вот о чём я вспоминаю, когда Разлука говорит о нашем блиндаже, который «мы отгрохали» под Новый год.

— Помню.

— Замечательный блиндажик был. — Разлука упрямо называет блиндажиком кирпичную домину с амбразурными щелями в каменном фундаменте.

— Напросишься, — хихикнул Есипов. — Заставят новый блиндаж рыть, так не возрадуешься. Век тут сидеть располагаешь?

— Дубок милый, — ласково огрызается Разлука. — Солдатских примет не знаешь: в добром блиндаже не заживаются, в дырявом — зимуют.

Есипов отмалчивается.

— Никогда ему не прощу, если опоздаю в Берлин, — обходным маневром продолжает наступление Разлука.

— Кому — ему? — Есипов не спит, курит.

— Гитлеру паршивому.

— Трепач! — хихикает Есипов. Разлука органически не переносит этого слова. Есипов нарочно злит его.

— Как угодно, — косо передёргивает плечами Разлука и обиженно замолкает.

Про блиндаж и примету Разлука верно сказал. Не раз убеждался: дольше всего приходится торчать на одном месте, когда ютишься в скверной дыре.

— Завтра подыскать брёвна для наката.

— Слушаюсь! — веселеет Разлука.

— Напросился всё-таки, — бурчит Есипов недовольно и тихо, но так, чтобы я расслышал.

— Есипов, ясно?

— Ясно, товарищ гвардии капитан. — Есипов шумно вздыхает и натягивает палатку на голову.

Проверив наблюдателей и распорядившись на ночь, я тоже укладываюсь.

...Явственно слышу пушкинские стихи, проникновенные, певучие:

Но вы, к моей несчастной доле  
Хоть каплю жалости храня,  
Вы не оставите меня.

Осторожно приоткрываю глаза, боюсь вспугнуть Разлуку. Он привалился спиной к неровной земляной стене. Телефонная трубка висит у самого уха на верёвочной петле, надетой наискось под шапкой. В светлых выпуклых глазах золотые блики огня. В оранжевой полутьме мягко вырисовывается лицо.

Черты лица Разлуки на редкость правильные. Сейчас лицо классически красиво. Так, во всяком случае, мне видится.

Тонкие брови волнятся, взлетают, сходятся. В певучем тенорке столько чистоты и искренности, что у меня сердце сжимается от любви и сострадания к растерянной душе Татьяны.

Длинные ресницы смежаются, последняя золотая точка поблёскивает в затенённых глазах.

Письмо окончено. Правая рука Разлуки безжизненно повисла, будто устав от долгого письма. Глаза плотно закрыты. В уголках сомкнутого рта горестные складки.

На другом конце провода тоже молчат. Затянувшаяся пауза возвращает Разлуку в действительность. Прикрыв микрофон, Разлука вполголоса зовёт:

— «Промежуток»!.. «Промежуток!»!.. Уснул?.. Уснул. Эх ты, дубок милый!

Разлука прибавляет и другие слова, но произносит их с такой нежностью и соболезнаванием, что, право, обидеться невозможно.

Наконец он замечает, что я не сплю, и почему-то смущённо оправдывается:

— Дрыхнут, товарищ гвардии капитан. Чего только не придумаешь, лишь бы дежурство несли. И связь всё время обрывается, не уследишь.

— Почитайте ещё.

Несколько лет не называл я Разлуку на «вы». А почему?

Разлука всматривается в меня, убеждается, что я на самом деле хочу слушать пушкинские стихи, колеблется и всё же отказывается, благо удачный повод: теряется связь.

\* \* \*

Наблюдательный пункт устроен прямо на автостраде, в сожжённой самоходке. Рубка её разворочена внутренним взрывом, будто картонная коробка расклеилась. Забравшись с кормы, ползком, чтоб не загреметь, проникаю к разведчикам. Гомозов уступает место у щели. Ничего не видать. Когда вспыхивает ракета, Гомозов обращает моё внимание на тросы, привязанные к проволочным ежам, выставленным с той стороны автострады.

— Проход готовят, — поясняет Гомозов. — Дёрнут танком трос — и дорожка открыта.

— Хитрюги.

— У нас научились, — возражает Гомозов. — Ещё под Смоленском применяли. Сам комдив придумал.

Он бросает взгляд на часы. Не часы — мечта фронтовика: чёрный светящийся циферблат, центральная секундная стрелка, завинчивающийся герметичный корпус. Подарок генерала, со своей руки снял. У меня, между прочим, тоже такие.

— Завтрак бы поторопить, — говорит Гомозов, — а то и поесть не успеем.

Отсюда можно звонить в нашу землянку. В дивизион пока докричишься, немцы раньше услышат.

Тем же путём осторожно покидаю наблюдательный пункт. Из блиндажа разговариваю с начальником штаба, докладываю обстановку. Потом даю команду доставить завтрак к шести ноль-ноль и сажусь за планшет.

Звонят. Есипов не разберёт, чего от него хотят.

— Васнецова какого-то спрашивают... Товарищ гвардии капитан...

«Какого ещё Васнецова?»

— Кто говорит?

— Неизвестный мне старшина, пехотинец.

— Ночью ваш связист, Васнецов по фамилии, катушку одолжил. Обещал до рассвета вернуть и не идёт.

— Откуда вы говорите?

Старшина разговаривал с промежуточной станции.

Наконец вспоминаю, что Васнецов — это Разлука. Все так привыкли к прозвищу, что и настоящую фамилию солдата забыли. Разлука и Разлука. И сам Разлука не обижается.

Свидетелей происхождения странного прозвища в полку немного, а в батарее — я, Есипов, да ещё человека три, остальные сменились. Есипов, пожалуй, тоже не помнит.

Ещё на Урале, во время первого полевого выезда, Разлука сматывал телефонную линию. Откинувшись для равновесия, он быстро продвигался по тропке и крутил ручку железной катушки для кабеля, подвешенной на груди. Старая изношенная катушка скрипела и взвизгивала.

Приблизившись к огневым позициям, Разлука замедлил шаг и, размеренно накручивая, будто шарманку, запел скорбным дребезжащим тенорком: «Разлука ты, разлука...»

С той поры и присохло к нему странное прозвище.

Есипов растолкал Разлуку. Узнав, в чём дело, Разлука уговорил сержанта с промежутка отдать пехоте катушку кабеля.

— В обед расквитаюсь, — обещает Разлука, — т У нас тут тесно от этих катушек. Новенькие, краска липнет, оттого и не пользуем.

Какая краска? Нет здесь никаких катушек. Впрочем, кто его знает. Выходит, что не врал про двадцать семь порывов и кабель, взятый напрокат у пехотинцев. Но к чему было плести о пятисотке?

Уладив инцидент с катушкой, Разлука справляется о времени по своему будильнику. Он вытаскивает его с трудом из кармана, тряпочный свёрток в махорочной пыли. В некогда пёструю ткань завернуты большие круглые часы от немецкого «форда». У них недельный завод, чем Разлука очень гордится. Сколько было желающих обменяться с ним часами, Разлука всем отказал. Вот и сейчас, пытаюсь завести беседу, Есипов оголил руку и выставил часы-кирпичики:

- Махнём?
- Эти не могу, — серьёзно отклоняет сделку Разлука. А других у него и нет...

В шесть приносят завтрак. При звуке откидываемых барашек, которыми закантована овальная крышка термоса, Разлука вскакивает, словно по зову горна.

Покончив со своей порцией, Разлука деловито прячет в карман ложку и сменяет Есипова. Перед дежурством он ещё успевает снести еду в самоходку Гомозову. Опасаясь демаскирования, я разрешил пробираться в самоходку только избранным. Разлука в их числе.

— Зашевелились, — тихим голосом докладывает по телефону Гомозов. Вот начнётся, тогда можно орать во всю глотку: не только в дивизионе, немцы не услышат!

Приказываю соединить телефон самоходки напрямую с общей линией и ухожу к Гомозову.

— Можно и мне с вами? — просится Разлука.

В самоходке без того тесно.

— За связью следите.

Разлука повинуется. Никаких признаков разочарования на лице.

Он приходит буквально вслед за мной. Молча смотрю на него.

— Гранаты на всякий случай принёс, товарищ гвардии капитан.

Лукавит, но карманы на самом деле раздуты, и грудь топорщится.

Дожидаюсь, пока Разлука выкладывает гранаты. Он приволок их с десяток. Если бы осколок или пуля угодили в одну, не найти бы даже колесика от фордовского будильника.

— Все?

— Все, товарищ гвардии капитан.

— Теперь марш в блиндаж.

Разлука, вздохнув, нехотя карабкается наверх.

— Стой! Пускай перебесятся.

Немцы начинают атаку короткой артиллерийской под-



готовкой. Слышно, как взрели моторы, и проволочные ежи как ветром сдувает.

Командую натянуть шнуры. На орудийных прицелах установки НЗО-5. ЭНЗЕО — «неподвижный заградительный огонь», 5 — номер участка автострады впереди нашей самоходки.

Как только показываются зияющие дула и угловатые башни немецких танков, кричу: «Огонь!»

На автостраде вздымается стена разрывов. Осколки градом колотят по броне самоходки. В случае недолёта — прости-прощай! К счастью, автострада широченная, и мои огневики знают дело.

— Зарядить!

Боеприпасы подвезли, можно не скупиться.

Заваривается кутерьма. Стреляют все и вся. Головной танк юзом сполз назад. Из него повалил дым.

Ухудшается видимость.

— Места другого не нашёл, в сторонке сгореть не мог, Гитлер паршивый! В блиндаж! Немедленно!

Разлука безропотно подчиняется.

Скверно, что дым тянет в нашу сторону. С каждой секундой небо всё плотнее заволакивается бурлящим смолистым облаком. Из дыма торчат короткие руки вётел с растопыренными пальцами, будто деревья в плен сдаются.

В октябре, перейдя государственную границу, мы с Гомозовым и Разлукой напоролись на занятую немцами траншею. Всё обошлось удачно. На троих — двадцать пять пленных, первых плененных немцев на немецкой земле. Произошло это в районе Лаукэна. Там же мы впервые вступили в немецкое жильё.

Посреди квадратной комнаты — на столе чашки с дымящимся кофе. Глухое тиканье часов размером с одностворчатый шкаф. В настенной рамке тускло блестят на поблёкшем бархате фамильные ордена и медали.

Мы остановились у раскрытой двери, не решаясь переступить порог, как непрощенные гости.

Всё здесь чужое: и стол с кофейным сервизом, и кабинетные часы, и потомственные военные регалии.

— Вот они как живут... — Протянул Разлука не то с удивлением, не то разочарованно. Он шаркнул сапогами о половику и ступил в комнату.

Послышался странный шорох. Гомозов метнулся к двери, что вела в другую комнату, прижался к стене за косяком и, изготовив автомат, крикнул: «Выходи!»

Никто не отозвался. Тогда я шагнул вперёд и потащил на себя ручку. Тут же я толкнул дверь обратно и подпер её плечом. За дверью бесновался огромный волкодав.

Разлука дал короткой очередью прямо в дверь, и всё затихло. Только часы малиново отзвонили четверть.

— Пошли отсюда, — не поднимая глаз, с тоской попросил Разлука.

Через несколько дней я случайно подслушал драматическое повествование Разлуки о схватке с разъярённой сворой — сворой! — волкодавов. Разлука живо описал картину кровавой битвы — доказательством служили швы на спине шинели.

Когда я докладывал командиру дивизиона о пленении двадцати пяти немцев, командир, откровенно посмеиваясь, уточнил:

— Это не там, где вы, как рассказывают, отбивались от своры овчарок?

Схватка в траншее уже тоже считалась выдумкой.

\* \* \*

Немецкая цепь возникает из смоляного облака столь внезапно, близко, что мы едва успеваем приложиться к автоматам.

Гомозову удалось сдвинуть крышку переднего люка. Я пристроился у пробойны в боковой стенке.

Идут в ход гранаты, принесённые Разлукой.

Уцелевшие «гитлеры паршивые» залегли и поливают нас автоматным огнём.

Секретный наблюдательный пункт превращается в броневую точку, защищённую, но неподвижную.

Придётся убираться, и как можно скорее, но пока об отходе и речи быть не может — перестреляют. Надо выждать удобного момента, если такой ещё представится...

В лобовой лист косо ударяет снаряд, очевидно, болванка, снаряд без взрывчатки. Сумасшедший звон в ушах. Кричу в телефон и не слышу ответа. Гомозов жестом даёт знать, что связь прервана.

Сейчас батарея выпустит ещё по два снаряда из каждого орудия и замрёт до новой команды, а её не будет.

Снаряды отрывают лоскуты от дымовой завесы. Едва она успевает отрасти, гремит новая серия взрывов. Опять затягивается удушливый мрак, теперь надолго. Связи нет.

Дым вот-вот поглотит наше убежище, и мы уйдём. Вдруг на автостраду обрушивается ещё одна батарейная очередь. Ещё и ещё.

Ошибиться невозможно: кто-то повторил мою команду на НЗО-5. Разлука, конечно. У Есипова «фантазии нет». Разлука точно подметил.

В огне разрывов видны немцы. Они были совсем близко, в нескольких шагах от нас. Никуда бы мы не ушли. Теперь они останутся здесь...

Пищит зуммер. Даже я слышу, ушам легче стало.

— Есипов докладывает! — надрывается трубка. — Разлука сказал! Новый пункт для вас! выбрал! левее! Он туда! связь потянул!

Умница ты мой, Разлука! Всё понял, всё сделал, как надо.

— Отходим!

Сперва выбирается Гомозов, за ним я. Скатываемся по крутому откосу дорожного полотна, переводим дух и бежим что есть сил влево искать Разлуку.

Гомозов натренированным чутьём разведчика безошибочно угадывает место нового наблюдательного пункта, у перебитой ветлы. Там уже залегли трое наших. Они не оглядываются и не видят нас. Каски часто-часто дрожат, плечи трясутся от прижатых к телу автоматов. Неожиданно один из солдат рывком выскакивает наверх. Он что-то кричит и бросается вперёд, угрожающе потрясая гранатами.

Круто сворачиваю и взбегаю по насыпи, валюсь ничком у самой кромки.

На противоположной стороне, прячась за ветлами, осторожно крадётся танк. Вот он качнулся и замер. Куцый ствол пушки нацеливается на нашу самоходку. Мы вовремя выскочили из неё.

— Назад!

Разлука не слышит, бежит прямо на танк. Бежит во весь рост, открыто, вызывающе. И это не дикое безумие, не отчаяние смертника. Это отвлекающий манёвр.

— Разлука!

— Разлука! — во всю мочь богатырских лёгких вторит Гомозов.

Всё напрасно. Разлуку уже нельзя остановить, нельзя воротить назад.

Его заметили. Обдирая до искр бетон, танк спешно сворачивается навстречу неотвратимой опасности. Строчит пулемёт. Пули свистят над нашими головами. Разлука метнулся влево.

— Заманивает, — хладнокровно комментирует Гомозов. Солдатский азарт на миг заглушил в нём тревогу за товарища.

Танк крутнулся вслед за человеком с гранатами, но тот ушёл ещё левее, а танку мешает толстая ветла. И пока танк сдаёт назад, чтобы обойти препятствие, Разлука, теперь уже пригнувшись, мчится прямо на него.

Гомозов пускает веером длинную очередь, прикрывает Разлуку от немецкой пехоты. Сейчас это единственное, чем мы можем помочь Разлуке.

Он уже на середине голой бетонной полосы. Теперь только вперёд, в мёртвую зону танкового пулемёта.

Нас слишком мало, чтобы броситься вслед за Разлукой.

Откуда-то издали дробно лупит крупнокалиберный пулемёт.

Разлука вдруг налетает на невидимую стену. Он даже откидывается назад, и каска, вихляя, катится по отполированному бетону.

Разлука выпрямляется, восстанавливает равновесие и падает как подкошенный.

Он ещё жив, руки не выпустили гранаты. Поединок не окончен. Налрасно танк снова разворачивает пушку на нашу самоходку. Разлука медленно, но неотвратимо ползёт вперёд.

Кажется, я плачу от бессилия и ненависти.

Гомозов выслеживает немцев. Глаза его рыщут то в одну, то в другую сторону.

Наши автоматы перебивают друг друга, схлёстываются, смолкают, опять трещат.

Разлука, приподнявшись боком, швыряет гранату. Она взрывается в двух шагах от танка.

— Ослаб! — с болью кричит Гомозов.

Танк не поворачивается, он прыгает навстречу смерти, как волкодав на цели.

Разлука выбрасывает под гусеницы вторую гранату. Есть!

Гомозов без промаха бьёт по экипажу, который пытается выбраться из подбитого танка.

Я бегу к телефону.

Под прикрытием огневого вала Гомозов скользит через автостраду, как ящерица. Разлука, часто замирая, тянется к своим.

...Он лежит на носилках, непривычно длинный и тихий. Светлые выпуклые глаза с грустинкой глядят на нас.

Подле носилок стоит на коленях Есипов с заготовленной сигаркой.

— Подымишь, а, Разлука?

— Как дал ему по смотровой щели, — тихо заговорил Разлука, — он и ослеп, Гитлер паршивый. Я тогда — шасть гранату в люк, потом как долбану по стволу, он и нос повесил...

— Трепач ты, Разлука, — говорит Есипов; на сигарку падает слеза.

— Как угодно. — Разлука пытается передёрнуть плечами, но сейчас это не получается. Он морщится и замуривает глаза.

Сегодня же напишу на Разлуку наградной, представлю к Красному Знамени. Немедленно, пока очередной трёп Разлуки не дошёл до командира дивизиона.

Нет, сегодня не придётся. А на завтра трудно загадывать...

Сдираю с руки часы с чёрным циферблатом, центральной секундной стрелкой и завинчивающимся герметичным корпусом.

— Махнём?

Разлука открывает глаза и едва заметно покачивает головой.

— Эти не могу... Разбились.

— Ничего, починим! — бодро заверяю я и, растянув браслет, надеваю свои часы на левое запястье Разлуки.

Помогаю ему достать из кармана знаменитый свёрток. В руке дребезжащая тряпица.

— Завод недельный, — напоминает Разлука.

Приходит машина. Его уносят от нас.

От меня.





## ДОМ У МОСТА

Поезд был пассажирский, обычный, не экспресс, не курьерский, даже не скорый. Но мне казалось, что я ещё никогда не мчался с такой головокружительной быстротой — три года в сутки. Вязьма, Смоленск, Минск... 1942, 43, 44... Три года пробивались мы с боями по пути, который теперь *поеар* запросто преодолел за ночь и день.

На рассвете посыпал дождь. Косые трассы захлестнул\* широкое вагонное стекло. За мутной завесой терялись позади поникшие деревья. Потом отстал и дождь, но я всё равно ничего не узнавал. Очевидно, следовало повесить через плечо планшетку с фронтовыми картами и вновь пройти ш этим дорогам пешком, как тогда.

Я досадовал, что так быстро сменяются холмы и перелески, деревни и овраги — немые свидетели былого, и одно временно не терпелось скорее добраться до Н — цели моей поездки.

Это было не просто желанием. Надо мной семнадцать лет довлел неисполненный долг. Я был обязан вновь прийти туда, в город, где сражался пять дней и шесть ночей.

Мы ворвались в него ночью, штурмом. Когда захватили дом у моста, в нашей группе оставалось ещё шестеро: Сашок Иванов, Гусев Николай, Кадыров, сержант Ерёмкин, Швецов и я. Обратного меня вынесли на руках, вывезли на санитарной повозке. Но этого я уже не видел и не мог помнить. Только дом у моста. И мост, по которому не смел пройти ни один фашист.

Мы стояли пять дней и шесть ночей, пока не подошли наши.

Я ехал, чтобы найти тот дом у моста. Дорогой я был спокоен. Даже в Вязьме, где наш эшелон когда-то зверски бомбили «юнкеры», даже в конце пути, когда проводница возвратила билет: «Путешествие окончено». Но едва лишь поезд стал замедлять ход, волнение охватило меня, и я бросился в тамбур. Я хотел первым из пассажиров ступить на землю этого города, непременно первым, как тогда, в сорок четвёртом, семнадцать лет назад.

Я шёл по городу, шёл, ничего не узнавая, будто попал сюда впервые. Тогда, семнадцать лет назад, я не знал названий улиц, не запоминал номера домов. Мост через овраг, по которому протекала ржавая река, мутный поток. И дом у моста, где мы бились в окружении. Я искал его, дом у моста, но никто не знал, где он. Все были поглощены своими делами, своими радостями, своими заботами: мужчина, парень в спортивном костюме, стайка ребятишек с удочками, молодая женщина с тонким красивым лицом. И другая женщина, с ворохом покупок. Она даже не дослушала меня — «ничего не знаю, приезжая я». Я тоже ничего не знал, был приезжим и чужим, хотя здесь погибли мои верные товарищи, пролилась и моя кровь.

Я спрашивал офицера, строгого лейтенанта с красной повязкой патруля, и влюблённых, что встретились у фонтана в круглом сквере. Им, наверное, показался странным человек, приехавший за тысячу километров с единственной целью взглянуть на какой-то трёхэтажный дом у моста.



В городе было много трёхэтажных домов, целые улицы и прекрасные мосты через реку. Об этом поведали мне другие, и я сам видел их. Но ни один человек, к кому я обращался с расспросами, ничего не мог припомнить об овраге в городе, о доме напротив моста через овраг. Я уже стал терять надежду найти этот дом, и обида проникла в сердце.

Кому я нужен здесь, неизвестный приезжий, со своими воспоминаниями и домом у моста? Семнадцать лет, как окончилась война. Люди думают о будущем, а не о прошедшем. Нет, каждый искренне хотел помочь, но с большей охотой все говорили о настоящем. Я узнал, что здесь самая широкая площадь в Европе, самый красивый сквер в Советском Союзе и даже есть улица — самая короткая в мире. И обо всём этом сообщалось с чисто детской хвастливостью. А город и в самом деле был своеобразен и прекрасен. Порою я забывал о цели своего приезда и любопытствовал, как турист. В один из таких моментов здоровяк лет тридцати — тридцати пяти с открытым улыбчивым лицом вызвался быть моим гидом. У него был «отгул после запарки», и он с явным удовольствием водил меня по городу, показывая достопримечательности: новый кинотеатр из стекла и стали, уютный ботанический сад, огромный универмаг с эскалатором. Мой спутник, вероятно, знал город лучше всякого штатного экскурсовода. Он обладал своеобразной памятью: какой и когда построен дом или восстановлен прежний, как родился новый сквер, казённый он или самодельный. Под самодельным подразумевалось — на общественных началах.

Он любил и знал город, который считал родным, хотя вырос где-то на Волге и приехал сюда после ремесленного училища в сорок шестом году. Он знал всё, что произошло в городе после сорок шестого. И когда у могилы Неизвестного солдата, где у подножия обелиска в бронзовой чаше горел Вечный огонь, я спросил его о доме у моста, он впервые не сумел ответить. Он оглянулся вокруг в поисках помощи. Старик пенсионер читал на скамье газету. Мы присели рядом, и мой спутник начал разговор:

— Видать, старожил, папаша?

Старик опустил газету и, взглянув поверх очков, уклончиво согласился:

— Допустим, а что?

— Вот, товарищ дом ищет, трёхэтажный, напротив моста.

— А в каком районе?

— В каком районе? — будто переводчик, передал мне вопрос мой спутник.

Что я мог ответить?

— Чем же я могу вам помочь? В городе пять мостов через реку. Кстати, товарищ видел наш новый кинотеатр? А железнодорожный мост?

— Я ишу дом у моста через овраг,— уныло повторил я.

— Овраг... — Старик задумался. — Вы знаете, я что-то вспоминаю. Это, скорее всего, в районе заводского жилмассива. Товарищ не видел там новую школу?

— Её построили за пятьдесят шесть дней, — оживился мой спутник. — Крупноблочная.

— Садитесь на автобус, — посоветовал старик. — Нет, лучше троллейбусом.

— Пятнадцатым, до конца, — подхватил мой спутник и оказал мне ещё одну услугу: проводил до остановки.

Мы расстались. Потом, покачиваясь в троллейбусе, я пожалел, что так и не спросил его имени. Незвестный прохожий. Два часа бродил он со мной, рассказывал, объяснял, а я так и не узнал, кто он и что. Впрочем, и я для него остался неизвестным, неизвестным приезжим.

Неизвестным... А сколько их, неизвестных, под вечным огнём на холме?

Неизвестный солдат. Для кого неизвестный? Ведь этот неизвестный и Сашок Иванов, и Гусев, Кадыров, Ерёмкин, Швецов, и наш гвардии лейтенант. Он был холостым, но и у него и у троих из нас оставались матери, у Сашка—только невеста, родителей расстреляли фашисты в Одессе; сержанта Ерёмкина ждали три сына, и у Швецова в Кургане росли девочки-близнецы. Я тоже едва не стал неизвестным солдатом.

Когда нас оставалось двое, я и смертельно раненный Сашок Иванов, пришлось отступить на чердак. Сашка я устроил у дымохода, а сам, перебегая от одного слухового окна к другому, продолжал вести огонь.

Приближалась шестая ночь боя. Дом был отрезан вторые сутки. Вышли патроны. Три гранаты и финки — вот и всё.

Сашок бредил, ему чудились море и порт, где он работал на буксире «Балаклава».

Временами Сашок, вдруг широко раскрыв невидящие глаза, тяжело придыхая, напевал. Может быть, он пел громко, не знаю: в ушах стоял нестерпимый звон. Наверное, от бессонных ночей и непрерывной пальбы или просто от контузии.

Немцы ещё раз попытались проникнуть на чердак, и у меня осталась только одна граната, последняя. Внезапно наступила тишина, потом заурчали моторы. К дому приближались два танка. Пять танков уже несколько дней мёртво чернели перед домом. Один из них подорвал сержант Ерёмкин. Сверху видно было его распластанное могучее тело в трёх шагах от обгорелой громадины с покосившейся башней.

Сашок запел о море и резко, без перехода, закончил словами из другой песни:

И никто не узнает, где могилка моя...

А её и не будет, а, Чалый?

Последнюю фразу он сказал ясно, отчётливо.

— Будет, Сашок! Узнают! — закричал я, чтобы самому услышать свои слова.

И тут мне пришла мысль оставить письмо, записку, рассказать, что здесь произошло. Но бумага могла попасть в руки врагов и погибнуть. Немцы должны были нагрянуть с минуты на минуту, а у нас на двоих оставалась одна граната.

Я подполз к Сашку и стал ждать, выглядывая из-за трубы. Финка лежала рядом, подле руки. И я стал выцарапывать остриём ножа на кирпичной кладке прощальные слова. Первым я вырезал фамилию «Иванов». Я начал высекать «Сашок», имя, которое знала вся дивизия, но времени было мало, возможно его не осталось уже вовсе.

Последней я начал свою фамилию, но за спиной ярко вспыхнул багровый всплеск, и сразу наступила ночь...

— Жилмассив. Конечная остановка! — звонко объявила курносая девушка с кожаной сумкой на груди.

Я был где-то рядом. Но куда идти, в какую сторону?

Очень молодой и очень серьёзный милиционер в белом кителе и шегольских сапожках после короткого раздумья бодро посоветовал:

— В справочное бюро надо, товарищ. Фамилия, имя, отчество, год и место рождения родственника, которого ищите. И получите адрес. В нашем городе это быстро. Порядочек полный.

— У меня нет здесь родственников, — устало объяснил я. — И знакомых нет.

Милиционер подозрительно окинул меня взглядом и, официально козырнув, сухо отрубил:

— Тогда ничем помочь не могу, гражданин.

Никто ничего не мог, никто ничего не знал.

Разбитый долгим блужданием, брёл я по улице с гордым названием: «Улица Шести Гвардейцев». Обелиск на могиле Неизвестного солдата. Улица шести неизвестных гвардейцев — вот всё, что напоминало о прошедшей войне. Нет, не усталость — горькая, невысказанная обида согнула плечи. Я присел на садовую скамью в открытом просторном дворе белого пятиэтажного дома.

На площадке шумно играли в волейбол. Матери катали в нарядных колясках нарядных малышей. Удары по мячу, свистки судейской сирены, гомон, смех, шелест троллейбуса, музыка из открытого окна — тысячи звуков окружали меня, но в голове стоял монотонный звенящий гул. Я? прикрыл глаза.

— Не помешаем?

Не глядя, молча сдвинулся в сторону.

Кто-то уселся рядом и заговорил, неприятно громко, хрипло:

— Стало быть, не знаешь, брат, кто строил этот дом?

— Не-е, — отозвался мальчишеский голос.

— И давно он тут стоит? — попытывался хрипач.

— Всегда, — уверенно прозвучало в ответ.

— И ты в нём всегда живёшь?

Мальчик сказал веско и твёрдо:

— Всю жизнь.

— Всю жизнь, — повторил дрогнувшим голосом хрипач. — Так вот, брат, твой дом я строил. Вот этими руками! из пепла возрождал, как ту птицу финик!

Он сказал это гордо и торжественно. Даже хвастливо.

Меня покорило его бахвальство. Я открыл глаза. Рядом сидел мужчина в парусиновом костюме и белых текстильных туфлях, какие обычно носят южане. В двух шагах стоял мальчик лет шести и с достоинством и любопытством поддерживал беседу:

— Краном?

— Какие там краны в сорок пятом! — взмахнул коромыслом кими крепкими руками строитель. — Тут кругом знаешь: что творилось, брат!

— Сашо-ок! — позвал девичий голосок.

Я невольно вздрогнул.

— Сашо-ок!

От дома шла девушка с острыми плечиками.

— Я здесь! — отозвался мальчик.

Девушка приблизилась к нам, сказала недовольно, с Нипускной строгостью.

— Ищи тебя по всему двору! Обедать пора.

Она взяла мальчика за руку, потом, почувствовав себя неловко, кивнула нам:

— Здравсте.

— Здравствуйте, — шумно отозвался строитель. — Сестрёнка, видать. А вот мы и её спросим: давно стоит ваш дом?

— Всегда.

— А вы сколько в нём живёте? — не хотел сдавать строитель.

Девушка пожала острыми плечиками и, будто заранее сговорившись с братом, ответила:

— Всю жизнь.

Она сочла разговор исчерпанным и, извинившись, ишла, ещё раз передёрнув плечиками. Сашок, выдернув руку убежал вперёд.

— «Всю жизнь», — с горькой усмешкой повторил строитель. — Слыхали? Всю жизнь!..

Он замотал головой, как пьяный. Его разговорчивость раздражала меня.

— «Всю жизнь»! И никакого им дела, кто этот дом строил, из пепла возрождал, как ту птицу финик!

— Феникс, — не сдержавшись, поправил я, но он не обратил на это внимания.

— Коробка, разбитая коробка стояла. Шутка сказать: двадцать суток шёл бой, сражение за этот дом. Шестеро обороняли, а фашистов — видимо-невидимо! Напротив овраг был и мостик через него, так...

— Где... мост?

У меня перехватило дыхание.

— Давно нету, — равнодушно ответил строитель, продолжая горестно мотать головой. — Овраг ещё при мне засыпать начали. Вот, в командировку еду. И не утерпел. Сошёл с поезда. Захотелось посмотреть свой первый дом. Сколько я их понастроил за эти шестнадцать лет — видимо-невидимо! И здесь, и в Минске, и в Сибири. Но этот!..

От него пахло вином или пивом, но он не был пьян, лишь разговорчив и чувствителен.

— Но этот дом... — повторил он хриплым шёпотом. — Приехал, а никому дела до меня нет.

В нём говорило уязвлённое самолюбие безвестного создателя, неутолённая жажда признания былых заслуг. И я поймал себя на мысли, что он изливает мою собственную боль.

— Я понимаю, оркестр тут ни при чём и митинги разные. А вот, — он прижал к груди сильные руки, — хотелось, чтоб люди знали, хотя бы те, что в этом доме живут, знали, кто для них потрудился. А тут — нате пожалуйста: «Всегда стоял», «Всю жизнь».

Губы его дрогнули, и он умолк.

— А что, брат! — Он вдруг поднял голову, встрепенулся и заглянул мне в лицо светлыми прояснившимися глазами. — А может, в том и есть самое главное? Вот я строил дом, не для себя ведь, не ради самоличной славы. Чтоб люди жили, детишек на свет рожали. Чтоб вот они, Сашок этот и сестрёнка его, и другие всегда тут бегали, всю жизнь! — Он и теперь обращался ко мне, но говорил для

себя самого: — Вот оно — смысл в чём! Не памятник же мне у каждого дома ставить. Да я только на этой улице Шести Гвардейцев пять домов воздвиг! Что ж мне, доски мраморные везде привинчивать? — Он неожиданно крепко ухватил меня за руку и строго потребовал: — Но, брат, солдата, что кровь свою проливал, жизнь отдал, того не смей забывать! Когда строили этот дом, возрождали его, наткнулись на чердаке на надпись одну. Так мы те слова куском вырубали и заново в стену вмуровали. Навечно!

«Улица Шести Гвардейцев»... Да, нас было шестеро... Но почему двадцать суток? Мы бились пять дней и шесть ночей... Народная молва сработала. Что ж, то были не простые дни и ночи...

Надпись на чердаке... Овраг... Мост...

— Где? Где это? — Я вскочил на ноги и закричал: — Где?

Строитель невольно затих и показал рукой на торец дома.

Я пошёл, побежал к дому.

Над высоким фундаментом был вмурован, составляя часть оцементированного серого, как гранит, цоколя, вырубок кирпичной кладки со словами, вырезанными остриём финского ножа:

#### **ЗДЕСЬ СТОЯЛИ НАСМЕРТЬ ГВАРДЕЙЦЫ:**

**И В А Н О В С. А.**

**Г У С Е В Н.**

**К А Д Ы Р О В Х.**

**Е Р Е М К И Н**

**Ш В Е Ц О В**

**Ч А Л**

Бережно, едва касаясь, водил я пальцами по слабым бороздкам в красной обожжённой глине. Пальцы мелко дрожали, и я ничего не мог с этим поделаться. В ушах стоял гул. И мне почудилось, что я услышал голос Сашка Иванова:

«И никто не узнает, где могилка моя»... А её и не будет, а, Чалый?»

И свой ответ: «Будет, Сашок! Узнают!»

Почему я был так уверен в этом? Потому, что тяжело умирать неизвестным, даже неизвестным солдатом! Это так, конечно. Но не в этом главное.-

За тысячу километров приехал я сюда, чтобы найти дом у моста, разбитый, иссечённый, продырявленный дом. Но разве я действительно хотел увидеть его разбитым? Зачем же тогда всё это было?

Нет-нет! Я и сам не признавался себе, что хочу видеть возрождённый дом, жилой, живой. И маленького Сашка, и его сестрёнку с острыми плечиками, и это «Всегда, всю жизнь!».





## СОДЕРЖАНИЕ

Отзовись! . . . . .	3
Бычок . . . . .	15
Сапёр . . . . .	26
«Разлука» . . . . .	37
Дом у моста . . . . .	54

Для младшего школьного возраста

*Илья Львович Миксон*

### ОТЗОВИСЬ

**Ответственный редактор Л. Р. Баруздина. Художественный редактор Н. З. Левинская. Технический редактор Н. Ю. Крапоткина. Корректор В. К. Мирингоф.**

Сдано в набор 10/X 1973 г. Подписано к печати 20/Ш 1974 г. Формат 60x90/16. Бум. типогр. № 2. Усл. печ. л. 4. Уч.-изд. л. 3,27. Тираж 760 000 экз. Заказ № 678. Цена 12 коп.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Детская литература». Москва, Центр, М. Черкасский пер., 1.

**Калининский полиграфкомбинат детской литературы им. 50-летия СССР Росглаволиграфпрома Госкомиздата СМ РСФСР. Калинин, проспект 50-летия Октября, 46.**

**Цена 12 коп.**

**ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»**

**В серии «Книга за книгой» в 1974 г.  
выходят следующие книги:**

**Богданов Н.**

**ВАЗА ВЕРХОЛАЗА.**

Рассказы о труде

**Драбкина Е.**

**ИСТОРИЯ ОДНОГО КАРАНДАША.**

Рассказы о революции, о первых годах Советской  
власти

**Жариков Л.**

**БОГ И ЛЁНЬКА.**

Отрывок из книги «Повесть о суровом друге».

**Эти книги по мере их выхода в свет можно приобрести в магазинах Книготорга и потребительской кооперации.**